

## **Часть первая**

### **На заре туманной юности**

#### **1. Город**

Название этого города, особенно с индексом — 16, сейчас у всех на слуху. И не только в России, но и во всех европах и америках. «Арзамас-16» — ядерный центр, мощнейшее в мире производство ядерного оружия, вотчина академика Харитона, совсем еще недавно чудовищно секретное место. Но рассказ мой не о нём, а о маленьком городе в российской глубинке, не имеющем отношения к своему страшному тёзке. Простодушные обитатели во все времена находили поводы, чтобы гордиться своим городом. Во-первых, гордились тем, что Арзамас никогда не был ни селом, ни посёлком. Не то что какое-нибудь там Лукояново или затрапезный Ардатов. Арзамас сразу стал городом. Его заложил в середине XVI века царь Иван Грозный, возвращаясь из похода на Казань. Зачем понадобилось Ивану Грозному закладывать на берегах безвестной речки Тёши город — об этом городские легенды не распространяются. Во-вторых, местные знатоки-краеведы рассказывали, что по-мордовски название города означает «Красивая местность» («Эрзя-маз»), поэтому можно было гордиться красотой окрестностей. Правда, возникала неувязка между названием и версией о создании города: неужели Иван Грозный говорил по-мордовски? Впрочем, кто их разберёт, предков наших?..

Предметом гордости было также вошедшее во все учебники название литературного кружка «Арзамас», в который входили Пушкин, Батюшков, Жуковский, Вяземский и другие выдающиеся русские писатели и поэты. Кроме названия, кружок этот никак не был связан с городом — а всё же приятно!

Горожане гордились обширным заброшенным кладбищем за городом, на «Буграх», где по преданию были похоронены останки разинцев, казнённых в Арзамасе.

Менялись времена, менялись ценности, появлялись новые предметы гордости. После революции гордостью горожан стал дом №17 по улице Карла Маркса (быв. Сальниковой), где в 1902 году жил высланный сюда Максим Горький, в саду этого дома показывали древнюю липу и кованую железную скамью под ней. На этой скамье, как рассказывали, Горький

писал «На дне».

И, наконец, после Великой Отечественной войны город захватил культ прекрасного детского писателя Аркадия Гайдара. Гайдар действительно долго жил в Арзамасе, учился там — и вот появился памятник Гайдару, педагогический институт им. Гайдара, парк культуры и отдыха им. Гайдара, дом-музей Гайдара, нашлись одноклассники и однокашники Гайдара, выпускавшие книжки воспоминаний, оспаривавшие друг у друга право «на Гайдара». Но со временем наступает переоценка ценностей. Слава Гайдара несколько померкла (нет правды на земле) и вместо неё пришла тяжелая, пугающая слава Арзамаса-16. Она накрыла и небольшой, уютный городок, о котором с такой симпатией писал Гайдар: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами...»

## **2. Бога нет**

В дореволюционное время городскими достопримечательностями были культовые сооружения. Великолепный Воскресенский собор работы архитектора Коринфского, 35 церквей и 4 монастыря. Для города с населением в 25—30 тысяч человек это было немало. Церкви практически стояли на каждом квартале. В начале 30-х годов, как и везде в Советской стране, в Арзамасе развернулась борьба с «опиумом для народа». Церкви взрывали подряд.

Май 1932 года. Мы — ученики (тогда говорили «учащиеся») 1-й группы 5-й начальной школы. Во время урока наша учительница приглашает всех подойти к окнам. Из окон видна небольшая церковь с колокольной на площади. Внезапно церковь беззвучно приподнимается, потом раздаётся гул, и церковь у нас на глазах рассыпается на куски. Обломки, щебень, кирпичи падают на площадь, и долго ещё оседает в воздухе красноватая плотная пыль. Церкви нет, есть безобразная, бесформенная груда обломков, засыпанных кирпичной пылью. Сеанс окончен, проведено мероприятие по патриотически-антирелигиозному воспитанию детей. Долгие годы ещё площадь была засыпана обломками кирпича, а мы, дети, играли в прятки на развалинах церквушки, попирая ногами лики святых и обломки икон. Пощадили только Воскресенский собор, устроив там антирелигиозный музей, в котором мы, пионеры, работали экскурсоводами и рассказывали посетителям, как попы-прохиндеи охмуряли трудовой народ. В остальных церковных зданиях, которые не успели взорвать, разместили склады и картофелехранилища. Правда, некоторым бывшим церквям «повезло» — там обосновались городской Осоавиахим (будущий ДОСААФ), пионерский клуб, типография и пожарная каланча.

Надо признать, что антирелигиозная пропаганда велась активно и умело, особенно среди детей, и в возрасте 5—6 лет мы с братом настойчиво убеждали взрослых, что надо говорить не «Ей Богу», а «Ей Красная Армия», потому что Бога нет, а Красная Армия всех сильнее.

### **3. Красная армия всех сильнее**

Красную армию в городе представлял 51-й стрелковый полк, размещавшийся в бывшем мужском монастыре на Прогонной улице. В дни государственных праздников — 1 мая и 7 ноября на Первомайской площади за городом устраивался военный парад и демонстрация трудящихся. В центре площади сооружали деревянную трибуну, где стояло городское начальство, а мимо маршировали красноармейцы под звуки маршей, исполнявшихся сводным оркестром 51-го полка и городской пожарной дружины. Мы всегда с трепетом смотрели на тёмно-малиновое бархатное знамя с золотыми буквами «51-й стрелковый полк». В нескольких местах знамя было пробито, как утверждали, в боях Гражданской войны.

Гвоздём программы была «рубка лозы». Вдоль широкой аллеи с обеих сторон устанавливали толстые прутья в специальных подставках — «лозу». Конники с обнаженными шашками по очереди скакали по аллее и рубили лозу. Под конец выезжал «мастер», который держал две шашки и рубил слева и справа. Восторженные трудящиеся награждали конников щедрыми аплодисментами. С деревянной трибуны начальники произносили речи, очень эмоциональные, но довольно однообразные по содержанию. После парада перед трибуной нестройными колоннами проходили трудящиеся индустриальных гигантов города — винзавода, пивзавода и войлочной фабрики им. Будённого.

### **4. Разумное, доброе, вечное**

Кроме церквей, все остальные институты и учреждения в городе можно было пересчитать по пальцам. Одна аптека, один кинотеатр «Искра», одна поликлиника (тогда её называли амбулатория), один легковой автомобиль типа «Форд» у секретаря райкома партии и один городской сумасшедший по прозвищу «Яшка Порвать». Учебных заведений было однако немало. Шесть начальных школ (по 4 класса), из которых одна была образцово-показательной, а другая — шестая — «дефективной» школой для слабо развитых детей. Этой школой пугали непослушных. Две школы второй ступени. Первая — бывшая женская гимназия — получила название «Бухаринской», а позже была переименована в «Ворошиловскую». Вторая

— бывшее уездное коммерческое училище — «Плехановская», а позже — «Пушкинская».

Заметим, кстати, что волна переименований в своё время накрыла город с головой. Вместо Прогонных, Больших, Базарных и прочих мещанских названий появились Советские, Коммунистические, Кооперативные улицы, и даже Федеративная и Демократская. Некоторым улицам фатально не везло. На окраине города ютилась небольшая улочка — Голодаевка. Её переименовали в улицу Троцкого, через несколько лет ул. Троцкого превратилась в ул. Бухарина, потом — в ул. Ворошилова. Но и тут её страдания не кончились. После пленума 1957 года её назвали Пролетарской улицей, что было уже гораздо ближе к первоначальному имени.

Кроме школ первой и второй ступени, в городе было педагогическое училище, совпартшкола и что-то вроде сельхозтехникума, почему-то именовавшегося «Тракторным комбинатом».

Все начальные школы, кроме образцово-показательной, размещались в одноэтажных зданиях барачного типа. А для школы №5 была отведена часть этажа в здании педагогического училища: школа была как бы учебной базой для практических занятий студентов. В школе было четыре класса, четыре учительницы, из которых одна была заведующей школой, и уборщица, которую называли «техничкой», чтобы не умалять её человеческого достоинства. Спецпредметы — пение, физкультуру, труд — преподавали почасовики, обслуживавшие несколько школ. Очень интересной фигурой был учитель пения — бывший церковный регент, высокий, худой человек с длинными волосами, горбатым носом, в пенсне на черном шнурке. Говорил он, по-волжски окая, глубоким звучным басом.

— Вот я вам скажу, — говорил он, — Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила». Что вы поняли? Ни-че-го! А я научу вас это рондо петь.

Он был влюблен в классическую музыку и действительно пел это сакраментальное рондо, аккомпанируя себе мощными аккордами на разбитом школьном рояле.

Музыкантов в городе было мало. Надо учесть, что до начала тридцатых годов радио ещё не функционировало, патефонов не было, а граммофоны водились только в очень состоятельных семьях. Поэтому музыка звучала на военных парадах, на похоронах, в кинотеатре перед началом сеансов и во время «художественной части» после различных торжественных собраний. Музыкальную культуру несли в народ военный оркестр, духовой оркестр добровольной пожарной дружины, знаменитый на весь город тапёр Яхонтов — маленький лысый человек в очках, сопровождавший игрой на пианино немые фильмы и неперемный аккомпаниатор на свадьбах и концертах — скрипач Солдатов, по совместительству монтёр на местной электростанции

и три учительницы музыки — Мария Ивановна, Вера Ивановна и Надежда Ивановна, все три старые девы из бывших дворянских семей.

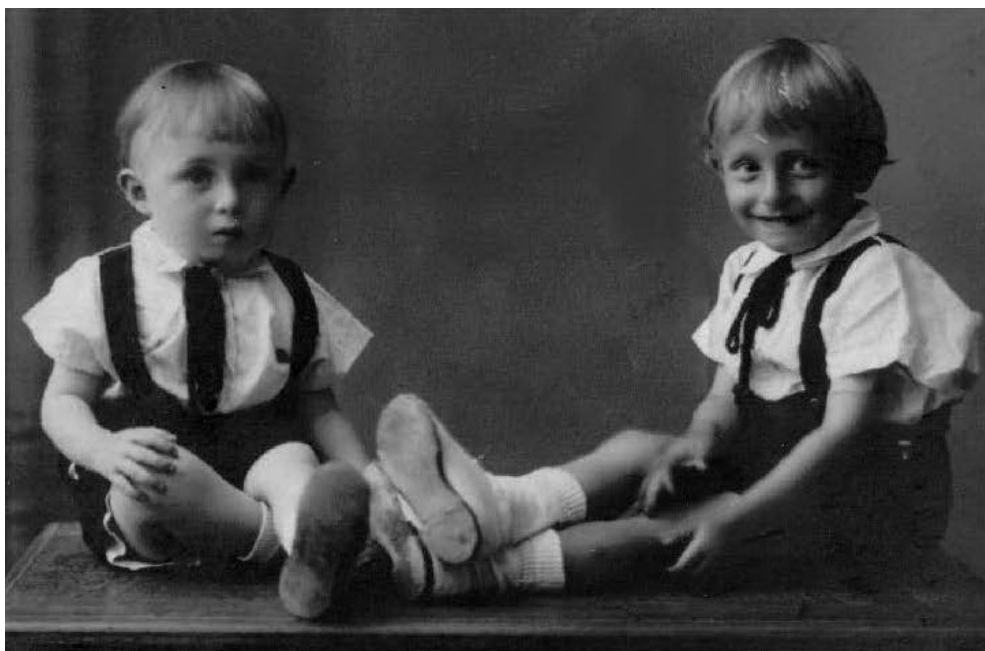
У Марии Ивановны учился музыке мой брат, а я ходил с ним на уроки за компанию. Жила она в старинном барском доме над рекой. В просторных его комнатах пахло девятнадцатым веком. Всё там было старое — мебель, рояль, шторы на окнах, книги, и сама учительница в пенсне со шнурком и высоко уложенными седыми волосами. Пока брат играл упражнения из «Школы Бейера», я рассматривал картинки в роскошном издании сочинений Пушкина — голубой с золотом переплёт, веленевая бумага и великолепные иллюстрации. И такие же роскошные стихи, они запомнились мне лучше, чем потом в школе, когда мы изучали творчество Пушкина — борца с самодержавием.

## 5. Брат

Теперь, наверно, пора рассказать о брате. Мы были погодки с разницей в год и месяц, но росли, как близнецы — всегда держались вместе, учились в одном классе и сидели за одной партой. Но были мы очень разные. С раннего детства брат тянулся к музыке. У нас в квартире стоял старый кабинетный рояль фирмы «Макко» — мама чуть-чуть играла. В четыре года брат выучился играть несложные мелодии, играл он большим пальцем правой руки, аккомпанируя двумя пальцами левой. Чаще всего звучали популярные в то время песни: «Мы кузнецы, и дух наш молод...», «Мы синеглазники, мы профсоюзники...», «Кирпичики» и прочие. Музыка ему заменяла всё. На всех похоронах он шел за оркестром, раскрыв рот, до самого кладбища, а на парадах устраивался возле капельмейстера. Все дети обычно играют в солдатики; мы с братом играли в музыкантов: рисовали военных с трубами и барабанами, вырезали их из бумаги, выстраивали на полу оркестр и на два голоса играли марши и вальсы. Позже, когда в доме у нас появилось радио, мы слушали симфонические концерты, монтажи опер, вырезали из газет портреты композиторов, пианистов, скрипачей, певцов и делали из них альбомы.

Он был очень талантлив, мой брат. В десять-двенадцать лет он сочинял рондо и прелюдии, ноктюрны и сонатины, романсы и арии. А после седьмого класса, когда заведующая музыкальной школой сообщила матери, что они научили брата всему, что умели сами, он заявил, что поедет в Москву поступать в музыкальное училище. На приёмном экзамене он играл фортепианную сонату, подражательную вещь в бетховенском стиле. Но было в ней что-то такое свежее, неожиданное, что его немедленно приняли на композиторский факультет. Он успешно учился, через два года его

перевели на первый курс консерватории в класс профессора Глиэра. В мае 1941 года он получил вторую премию на конкурсе молодых композиторов за сонату для скрипки и купил себе первый в жизни костюм.



*Мы с братом (1926 год)*

А в июне того же года вместе с другими студентами он добровольно ушел в ополчение. Последняя открытка от него была датирована 16 октября 1941 года. Это был день великой паники в Москве. Брат писал, что их рота вышла из окружения, а он даже не ранен; завтра он уже в составе регулярной армии уходит на фронт; в Москве никого из родственников нет — все разбежались кто куда. И больше ничего не было. На все наши запросы ответ был один: «В списках убитых, раненых и пропавших без вести не значится». И только в 1948 году в адрес матери пришла официальная бумага, где сообщалось, что «ваш сын, такой-то и такой-то пропал без вести в январе 1942 года».

От брата осталась маленькая фотография на паспорт и несколько нотных листков с набросками прелюдий, романсов и оратории «Песнь о вещем Олеге».

## **6. Школа**

А теперь вернемся в тридцатые года, в пятую начальную школу, где мы с братом сидим за одной партой. Это были годы расцвета так называемой педологии, и именно в нашей школе проводились всякие педологические

эксперименты. Отметки за успеваемость были отменены, во всех группах (так назывались классы) ввели бригадный метод обучения. Вся группа разбивалась на бригады по 6 человек. На практике это две парты по три ученика, они ставились лицом к лицу. Один из шести учеников назначался «бригадиром». Учительница давала бригаде задание — что-нибудь прочитать, выучить параграф, решить задачку или выполнить упражнение. Всю ответственность за успеваемость в бригаде нёс бригадир — девочка или мальчик 8—9 лет. Помнится, этот метод просуществовал очень недолго.

Бригады отменили, ввели отметки: «Оч. хор.», «Хор.», «Пос.», «Пл.» и «Оч. пл.», то есть — «Очень хорошо», «Хорошо», «Посредственно», «Плохо» и «Очень плохо». В дальнейшем эти отметки трансформировались в «Отл.», «Хор.», «Уд.» и «Неуд.», но долго еще школа не могла вернуться к существующей сейчас цифровой системе оценок.

В первых четырёх классах детей, как и во всём мире, учили читать, писать, считать, давали первоначальные сведения по географии, истории и другим необходимым наукам. Мы старательно писали «Мама мыла раму» и «Мы не рабы, рабы не мы», умножали столбиком, делили углом, заполняли контурные карты и учили параграфы про законы Солона и братьев Гракхов. Всё это обыкновенно и понятно.

Но вот в 1934 году, в четвёртом классе, мы тщательно изучали доклад тов. Сталина на XVII съезде ВКП(б). Для лучшего усвоения каждому (каждому!) ученику выдали экземпляр доклада в бумажной обложке.

В 1936 году начальные школы и школы второй ступени объединили в средние школы. До революции наша средняя школа №1 им. Ворошилова была женской гимназией, и многие учителя работали в школе ещё с того времени. В основном это были, очень хорошие педагоги. Отличались они высокой культурой, интеллигентностью и профессионализмом. Я подчёркиваю это, поскольку речь идёт не о столичной школе и даже не о губернском городе, а о небольшом уездном городке, где возможности самообразования и культурного развития были ограничены.

Завучем в школе был Фёдор Иванович, он же преподавал географию. В гимназии он вёл историю Государства Российского. А так как к преподаванию общественных дисциплин — истории, обществоведения, Конституции СССР (был и такой предмет) — допускались лишь проверенные члены партии, Фёдор Иванович перешёл на географию, благо климат Среднеевропейской равнины и высота Эвереста не зависят от социально-политических потрясений.

Подтянутый, всегда тщательно одетый, с блестящей лысиной, хищным носом и висячими усами, он увлекательно рассказывал о дальних странах, морях и океанах. Это в результате его уроков я знал наизусть столицы всех

стран мира и вулканы, вплоть до таких экзотичных, как Попокатепетль и Икстакихуатль в Мексике.

Математику преподавал Дмитрий Александрович, тоже из гимназических учителей. Внешне — полная противоположность заучу: разболтанная фигура, всклокоченные волосы, очки, криво сидевшие на носу, потрёпанная толстовка. На уроках он метался у доски, взмахивая длинными руками, как крыльями, весь в мелу, он страстно доказывал какую-нибудь теорему или выводил формулу. А если к доске выходил вызванный им лодырь и угрюмо молчал в ответ на все вопросы, учитель сникал, руки его бессильно повисали, он тоскливо смотрел в окно, пытаясь понять, как можно без всякого интереса относиться к такой восхитительной вещи, как математика!

Были, конечно, и учителя другого типа. Мария Степановна в гимназии учила девочек домоводству. Каким путём она попала в преподаватели русского языка и литературы один Бог (или районо) ведаёт. Полная, расплывшаяся, она неважно владела русским языком, а литературу (особенно советского периода) не знала вовсе. Добросовестно и монотонно пересказывала она нам параграфы из учебника литературы, бормотала про идейное содержание, образы и типы, называла даты рождения и смерти. Когда дело доходило до Маяковского, она заливалась краской и бормотала что-то совсем уж невнятное, а развитые мальчики из нашего класса с выражением читали на уроках:

*«Каждое слово,  
даже шутка,  
которое изрыгает обгорающим ртом он,  
выбрасывается, как голая проститутка  
из горящего публичного дома».*

Гимназическим учителям противостояла партийная группа в составе директора школы, учительницы истории и военрука (он же учитель химии). Директор школы — Александр Александрович — горбатый карлик с жёлтым восковым лицом покойника и выдающимся вперёд носом, в круглых очках, постоянно одетый в коричневый костюм с чёрным галстуком. У него был противный скрипучий голос, холодные маленькие глаза и бескровные тонкие губы. Он никогда не кричал, но его панически боялись и ученики и учителя. За глаза его называли «Лимузин».

Учительница истории Ульяна Степановна по совместительству была и парторгом школы. Старая большевичка с дореволюционным стажем, она входила в состав не то горкома, не то райкома ВКП(б) и состояла живым

экспонатом в планах экскурсий по революционным местам города. Внешность её была подстать директорской — малого роста, страшно худая, на тонкой шее крошечная голова с лицом морщинистым, как печёное яблоко, огромные очки и грязно-серые волосы с пучком на затылке. Носила она всегда черные или тёмно-зелёные закрытые платья с белым воротничком и ботинки, которые в народе почему-то называют «коты». В ней всегда кипела злоба, ученики её страстно ненавидели (вероятно, взаимно). В общем, прозвище «старая ведьма» подходило к ней как нельзя лучше.

Я не сгущаю краски в описании внешности этих людей. Случайно или не случайно, но всё так и было. Тем более, что третий член партгруппы — Николай Иванович — внешность имел вполне благопристойную. Средних лет, средней упитанности, он преподавал химию и военное дело. Химию он, видимо, не любил, и уроки свои проводил весьма равнодушно, а коньком его было военное дело. Мы с увлечением изучали устройство винтовки образца 1893 года, разбирали и собирали затвор, выполняли нормы на значок «Ворошиловский стрелок» в тире, бегали в противогазах (нормы на значок ПВХО), учились делать перевязки (значок ГСО). Позже полученные навыки для многих из нас не пропали даром.

## **7. Вихри враждебные**

Наши старшие школьные годы (7—10 классы) пришлось на конец тридцатых годов, то есть на то время, которое ассоциируется с разгулом сталинского террора, со всеохватной властью ГУЛАГа, и «Черными воронами», снующими по ночным улицам. Но ведь кроме всего этого, точнее помимо всего этого была жизнь, молодость, были весенние ночи и зимние вечера, лыжные прогулки и купание на «Песках», были первые влюблённости и светлые надежды. Но было, конечно, и другое. Однажды ночью 1934 года нас с братом разбудил какой-то шум в столовой. Мы выглянули из спальни. В столовой сидел старший брат отца — дядя Павел. Он сидел на стуле, согнувшись, опустив руки между коленями, и плакал. Из его сбивчивого рассказа стало ясно, что вечером в его квартиру ворвались работники ГПУ, арестовали его и несколько часов подряд требовали, чтобы он отдал золото.

«Они привязали мне ноги к голове и били меня», плача рассказывал поседевший за одну ночь дядя. Никакого золота у него не было, но какой-то «доброжелатель» донёс... Под утро его выпустили, и он добрался до нашего дома.

Но настоящая охота на «врагов» началась у нас, как везде, в 1937 году. Были митинги у кинотеатра «Искра», на которых партийный руководитель

объявлял, что очередной секретарь райкома оказался врагом народа, а через неделю-другую врагом народа объявляли самого этого партийного руководителя. Стремительно менялись районные и городские начальники — секретарь райкома ВКП(б), секретарь РК ВЛКСМ, начальник ГПУ, командир полка, журналисты из газеты «Арзамасская правда», торговые работники.

В нашем 9-А классе учился очень развитый, начитанный парень Борис М. Отец его, известный горьковский журналист, был арестован год назад. Бориса с сестрой и матерью выслали из Горького, и они ютились в маленькой комнатке возле базара. Иногда в этой комнате собирались одноклассники, читали стихи, свои и чужие, разговаривали о литературе, о кинофильмах. В школьном драмкружке ставили «Разлом» Б. Лавренёва; режиссёром и исполнителем роли капитана Берсенева был Борис.

Однажды на уроке немецкого языка в класс вошли директор школы, местный милиционер Туркин и человек в штатском. Внимательно оглядев класс и побледневшую «немку», человек в штатском негромко скомандовал:  
— М.! Соберите вещи, выходите!

Борис смертельно побледнел, суетливо собрал свой портфель и быстро вышел из класса в сопровождении милиционера и человека в штатском. Больше мы никогда Бориса не видели. В 1957 году мать получила извещение, что её сын умер в лагере через три года после ареста. Никто не знал, за что арестовали Бориса. По слухам к этому делу приложил руку директор «Лимузин», который ненавидел Бориса за самостоятельность и независимость. Через несколько дней нас по очереди стали вызывать в ГПУ, где долго расспрашивали о том, кто бывал на квартире у Бориса, какие там велись разговоры, имелись ли случаи антисоветских высказываний.

А весной следующего года произошла ещё одна неприятная история. Наш класс находился в полуподвальном помещении, где водились крысы. Иногда они появлялись даже во время уроков. Кто-то придумал создать «Крысоловное общество». Написали устав общества, а я сочинил гимн, в котором были такие слова:

*«Против крыс и разных подлых тварей  
Мы сомкнём железные ряды.  
По крысиным полчищам ударим  
И спасём мы школу от беды.  
Крыс за хвосты  
Мы вздёрнем на шести.  
Крысам смерть!  
Да здравствуют коты!»*

Через некоторое время было объявлено про общешкольное комсомольское собрание, на котором будет рассматриваться моё персональное дело. На собрании присутствовал секретарь РК ВЛКСМ и недавно назначенный секретарь РК ВКП(б). Докладывала наш парторг Ульяна Степановна. Злобно поблёскивая огромными очками, она говорила об антисоветском заговоре в 10-А, о двусмысленных словах гимна (Кого это они подразумевали под крысами? Какие это коты да здравствуют?). Информация, видимо, у неё была поставлена отменно; с возмущением она отметила, что этот «так называемый комсомолец» частенько посещал квартиру врага народа М., он выступал со сцены с пошлыми рассказами Зоценко, подрывая моральные устои нашей молодёжи. Под конец речи она предложила исключить меня из комсомола за притупление политической бдительности и антисоветские высказывания.

Вот тут я испугался по-настоящему. Хотя мне было всего 15 лет, я понимал, что после такой формулировки на свободе я пробуду в лучшем случае несколько дней. Спас меня молодой секретарь РК ВКП(б). Он заявил, что нелепо в детской игре искать заговор и выращивать слона из еле заметной мыши, что сплошная подозрительность не имеет ничего общего с бдительностью.

Вероятно, сыграло свою роль и то, что после «разоблачения» Ежова на некоторое время террор ослаб. Так или иначе собрание проголосовало за выговор. Несколько дней мы с мамой ждали ночного звонка, но всё обошлось. Правда, на выпускном вечере, вручая мне аттестат отличника, директор не преминул вернуть: «У нас были к нему серьёзные претензии, но мы надеемся, что ничего подобного не повторится».

Любопытно, что похожая история произошла со мной через много лет, в конце 1952 года в армии. Мы, трое офицеров, снимали комнату в частном доме. У одного из нас был портативный приёмник на батарейках. Вскоре майор Виктор Е. женился и получил «квартиру» в старом полуразвалившемся бараке. У них родился ребёнок. Потом и я женился. Однажды Виктор, встретив меня в городке, показал письмо и сказал, что написал в ЦК ВКП(б) о бедственном положении советского офицера. Я торопился и пообещал прочитать письмо попозже. Через пару месяцев на партийном собрании Виктор был исключен из партии «за антисоветские высказывания». На этом же собрании «за потерю политической бдительности и скрывание антисоветских высказываний Е.» мне был объявлен выговор. Ещё через неделю был получен приказ об увольнении майора Е. в запас.

Но на этом дело не кончилось. Некий ретивый полковник — председатель партийной комиссии соединения — вознамерился склеить

громкое дело. Возможно, повлияла и начатая в то время антисемитская кампания, связанная с так называемым «делом врачей». Началось новое партийное расследование. Допросы, вопросы. Как часто вы слушали «Голос Америки»? Что? Ни разу не слушали? Ах, всё же было... А что говорил Е. о нашей партии? Как это ничего не говорил? Ну, и так далее...

Выжать удалось немного. На исключение и увольнение не потянуло. В результате – «строгий выговор с занесением в учётную карточку за притупление политической бдительности, слушание радио “Голос Америки” и скрытие антисоветских высказываний Е.»

За этой формулировкой последовало то, что и должно было последовать. Меня вывели из состава партбюро, отозвали представление к очередному воинскому званию и задержали награждение медалью за выслугу лет.

Закончилась эта история быстро и странно. Косвенный виновник Виктор Е. апеллировал в высшие партийные инстанции, был восстановлен в партии и успешно работал преподавателем математики, а позже директором школы. Меня же через пять месяцев вызвали на заседание партийной комиссии и втихую сняли взыскание.

Видимо, сказалось изменение обстановки — смерть Сталина, закрытие «Дела врачей», разоблачение Берии и прочее.

## **8. Война**

Но вернёмся в довоенное время. Многократно описаны последние годы перед войной — Испания, Рот Фронт, песни Эрнста Буша, в кино — «Профессор Мамлок», «Семья Оппенгейм» и фильм «Если завтра война» по невероятно глупой фанфаронской книге Н. Шпанова, где в течение недели наши доблестные воины на танках, самолётах и лихих тачанках наголову разбивают фашистов и, захватив Нюрнберг и Лейпциг, осаждают Берлин. И вдруг — Риббентроп в Москве, Молотов в Берлине. Потом триумфальный поход в Западную Украину и Белоруссию, присоединение Прибалтики, Молдавии. Наконец, «незнаменитая» финская кампания, о которой мы почти ничего не знали. В нашей глуши события эти ознаменовались появлением эстонских сигарет «Таллин» и «Мемфис», да ещё нескольких десятков беженцев-евреев из Польши. Они были измучены, голодны, почти не говорили по-русски. Их разобрали в семьи местных евреев.

Шёл 1941 год. 20 июня 1941 года в школе был выпускной вечер. 21 июня я снял копию со своего аттестата, а оригинал отослал в Ленинградский институт журналистики им. Кирова.

Воскресенье 22 июня выдалось очень солнечным, ярким. Я долго спал, мама пекла на кухне пирожки. Никто в городе ещё не подозревал, что уже

идёт война. И только к полудню мы слышали по радио выступление Молотова. Я немедленно помчался к приятелю. Он ремонтировал на веранде велосипед. Мы возбуждённо обсуждали страшную новость. А уже через пару часов по улице прошла первая колонна призывников — мобилизованных, среди которых мы увидели нашего учителя физкультуры. Он помахал нам рукой.

Через месяц почти все мои одноклассники, ребята 1923 года рождения были призваны в армию, а ещё через месяц пришли первые «похоронки».

Мне еще не было семнадцати, в армию меня не брали. Надо было решать, что делать дальше. Ленинградский институт превратился в несбыточную мечту, а я отправился в Горький поступать куда-нибудь. Была уже вторая половина августа. В педагогическом институте набор был уже закончен, в индустриальном не было общежития. Удручённый, я шёл по улице и вдруг заметил вывеску «Горьковский педагогический институт иностранных языков (ГПИИЯ)». Я зашёл. Приняли меня чуть ли не с распростёртыми объятиями, дали комнатку и без проволочек сделали студентом 1 курса факультета английского языка и литературы.

## **9. Институт**

Студенческая жизнь описана многократно, и я расскажу лишь об особенностях нашей жизни, связанных с войной. Первое, что запомнилось накрепко — постоянное чувство голода, иждивенческие карточки, по которым давали в день 400 граммов хлеба, 40 г. крупы и немного мяса, позволяли только что не умереть с голоду. Кроме хлеба, все остальные талоны (крупы, мясо, сахар) уходили на питание в студенческой столовой, вернее, только на обед. Завтраки и ужины остались в далёких довоенных временах. Обед, как правило, состоял из супа с галушками (о его питательности можно судить по стоимости — 6 коп.), вермишели или перловой каши. Если имелись талоны на мясо (в начале месяца), можно было получить два биточка из конины.

Главным в жизни, возжеленной мечтой, средоточием желаний был хлеб. Как правило, дневная норма — 400 грамм — покупалась утром. Чаще всего это был кусок свежего (черстветь хлеб не успевал) ржаного или «подового» хлеба, реже — французская булочка, переименованная в «городскую». Половина порции съедалась мгновенно, вторая предназначалась для обеда и на вечер. Но до вечера практически она никогда не доживала. Куда бы я не прятал оставшийся кусок, он не давал спокойно жить, он мешал читать, думать, и во всех случаях оказывался съеденным.

А вечером приходилось довольствоваться кружкой кипятка, который

можно было получить без ограничений. Частенько, в отчаянии, мы забирали хлеб вперёд на день, два или даже три — и тогда, особенно в конце месяца, жили на супе с галушками и на кипятке. Бывало, что ослабев от недоедания, мы не ходили на лекции, которые читались на четвертом этаже. Мысли о хлебе не выходили из головы нигде. Конспектируя лекцию, рука вдруг начинала рисовать хлебные буханки, на хлеб становились похожими ботинки... Мы смертельно завидовали ребятам, сумевшим устроиться на хлебозавод. Подрабатывали разными способами. Однажды, мне и приятелю моему предложили работу по очистке от снега крыши городского сумасшедшего дома. Завхоз, нанявший нас, обещал какую-то плату и главное — каждый день обед с хлебом! Работа была тяжёлая: много снега, крыша покатая, в первый же день мы вымокли насквозь. Во время обеда нам принесли по тарелке больничного «габер-супа» и пшённую кашу, хлеба не было. Возмущённые, мы поставили в угол лопаты и гордо направились к выходу. Завхоз догнал нас, повздыхал и велел принести по 150 грамм хлеба. Четыре дня мы мокли на крыше, но хлеб получали ежедневно. Деньги роли не играли. Стипендии в 143 руб. хватало, чтобы отоварить карточки, а то, что продавалось на рынке и в коммерческих магазинах, было недоступно не только для студентов.

Наравне с хлебом резко ощущался недостаток курева. Курить я начал в 16 лет, в школе. Трудно объяснить, что толкнуло меня на это. Во всяком случае, не чувство стадности. Дело в том, что я курил втайне не только от матери, но и от всех своих товарищей. В институте я уже был завзятым курильщиком. В кармане у меня постоянно хранился обычный для того времени набор — кусок кремня, кресало из обломка напильника и фитиль, заправленный в ружейную гильзу. Фитиль укладывался на кремь, резкими ударами кресала высекались искры, а затем тлеющий фитиль тщательно раздувался, при полном отсутствии спичек этот механизм был совершенно необходим. Курили в основном махорку-самосад, на базаре разрешалось пробовать махорку, и мы переходили от одной торговки к другой, сворачивая сигарки, а потом прятали их в карман. Доходило и до того, что собирали окурки по этажам, потрошили их и сушили табак.

Однажды перед отправкой на торф, я решил сменить пайку хлеба на стакан махорки. На Сенном базаре какой-то старик предложил попробовать. Махорка была хорошая. Я отдал ему хлеб, пересыпал табак в карман. Дома свернул сигарку, но курить не смог: махорка была только сверху, а всё остальное — обыкновенные опилки. Уехал и без хлеба и без табака.

В ноябре 1941 года начались налёты на Горький, немцы бомбили Сормово, автозавод, в городе ввели светомаскировку. В начале ноября наш институт в полном составе направили на трудовой фронт — рыть

противотанковые рвы и эскарпы в районе г. Павлово-на-Оке. Плыли мы в Павлово по уже замерзающей Оке на небольших парходиках. Шел снег, надвигалась зима. Нас разместили в селе Таремском по избам колхозников, пять-шесть человек в избе. Нас, четверых студентов с разных курсов и факультетов, поместили в избе, где уже жили четверо извозчиков — здоровенных мужиков, возивших на лошадях стройматериалы. Вечером после работы возчики садились пить чай. Ставили огромный самовар, и дымя самокрутками, неторопливо беседуя, выпивали за вечер по двенадцать чашек чая (сахара не было). На удивление ночью они спали беспробудно, на двор не бегали.

Мы спали на полу, подстелив свои пальто и подложив под голову вещмешки. Я выбрал местечко между печкой и стеной, там было тепло и уютно. Ночью я проснулся от страшного зуда во всём теле. Зажёг спичку и ужаснулся: вся «постель» была усеяна крупными клопами, которые кусались, прямо по Гоголю — «как собаки». Печку пришлось срочно отменить. В дальнейшем мы так уматывались на работе, что никакие клопы и вши (было и такое) не могли помешать сну.

Вставали мы в половине шестого, и наскоро позавтракав, отправлялись на работу за 8 км. Декабрь выдался очень холодный, морозы доходили до 32°. Два часа брели мы во тьме по тропе, протоптанной в снегу, с ломами и лопатами на плечах к месту работы. Там разжигали костры и принимались долбить ломами мёрзлую землю и отбрасывать лопатами комья. Через каждый час отходили по очереди к костру и отогревали руки. Потом стали привозить большие чаны с кипятком. Кружка кипятка согревала лучше любого костра. Работали все. В одном ряду с нами тюкали ломами пожилая учительница английского языка с муфтой на тесёмке, стремительный доцент Комаров, специалист по историческому материализму и тихий профессор Оболенский, читавший историю педагогики. Дело двигалось плохо. Однажды взвыла сирена воздушной тревоги, мы попадали на дно траншей. Над нашими головами пролетело звено немецких самолётов, но сбросили они не бомбы, а листовки. В них говорилось, что мы напрасно ковыряем землю, ничему это не поможет, призывали нас бросить лопаты и отправиться по домам. Листовки эти у нас быстренько отобрали, провели летучий митинг и через несколько дней прислали подрывников. Они закладывали заряды, взрывали грунт, и нам оставалось лишь разравнивать траншеи и отбрасывать землю.

6 декабря 1941 года я отморозил себе пальцы на руках. Заметил это, когда пальцы стали зелено-белые и твёрдые, побежал в амбулаторию в село. Я точно помню эту дату, потому что, прибежав в село, я увидел толпы людей перед громкоговорителями — Левитан читал сообщение Совинформбюро о

начале контрнаступления под Москвой.

Пальцы мне спасли, замотали бинтами, и только в марте эти бинты вместе с ногтями и обмороженной кожей удалось снять. До сих пор мои пальцы чувствительны к холоду.

Перед Новым годом работу нашу посчитали законченной и нас вернули в институт. Эскарпы наши не понадобились — немцы до них не дошли. До конца весны мы занимались спокойно, если можно так назвать занятия полуголодных преподавателей с голодными студентами в почти нетопленных аудиториях в обстановке ежедневных ночных налётов и сообщений Совинформбюро о боях на Моздокском и Сталинградском направлениях, под Ленинградом и Тулой. Летом нас отправили под Балахну на торфоразработки. Под палящим солнцем, в химических бахилах поверх обуви (торфяная жижа разъедает и кожу и резину) мы переворачивали на поле торфяные брикеты, которые нарезались специальной машиной, сушили их, грузили в большие плетёные корзины и относили в торфохранилище. Торфяные испарения забивали дыхание, под ногами хлюпала едкая коричневая жижа, питание скверное, жильё — прогнившие старые бараки. До какой-то степени всё это напоминало Боярку из знаменитой книги Н. Островского. И когда нам прислали повестки на призыв, мы с радостью отправились в Горький, хотя администрация торфоразработок предлагала отсрочку до конца осени.

Несколько недель спустя я уже был курсантом Горьковского училища зенитной артиллерии (ГУЗА) — училища «высшей механики и точной математики», как охарактеризовал его майор-военком, отправлявший нас на учёбу.

## 10. Училище

Дивизион курсантов, в который меня зачислили, располагался в одном крыле трёхэтажного здания. Каждая из трёх батарей дивизиона занимала один этаж, то есть казарму, где стояли двухъярусные кровати, вешалки для шинелей и пирамиды с оружием. Командиры отделений, помощники командиров взводов, старшина и замполит (была такая странная должность — замполитрука) были, назначены из сержантов, прошедших через фронт, имевших ранения и награды. Курсантская масса однообразием не отличалась. Люди разного возраста, самого различного общественного и семейного положения надели военное обмундирование и курсантские петлицы (погоны еще не ввели). Были в нашем взводе инженеры и архитекторы, продавцы и студенты, но основную массу всё же составляли 17—18 летние мальчишки, только что закончившие школу — горьковчане и

москвичи, вятичи и ленинградцы, туляки и украинцы.

В течение первой недели нас «по-быстрому» обучили строевым приёмам, ознакомили с уставами, разбили по расчётам и вывели в парк для изучения материальной части. Матчасть — 76-мм зенитные пушки образца 1939 г., прибор управления зенитным огнём — ПУАЗО-2, дальномер ДЯ-1. Ещё через неделю обучение было закончено и наша батарея заняла огневую позицию на «Гребешке» — крутом утёсе над Окой. Из нас сформировали две полубатареи, которые через день заступали на боевое дежурство. Дежурная полубатарея находилась у орудий и приборов, вела боевые действия, вторая отдыхала, несла караульную службу и немного занималась.

Налёты в то время, совершались ежедневно, так что скучать не приходилось. Я был назначен шестым номером в орудийный расчёт. Мы двое — пятый и шестой номера — должны были по командам третьего номера специальным ключом устанавливать взрыватель на снарядах и передавать снаряд заряжающему. Ночью эта операция производилась при свете миниатюрной лампочки, вмонтированной в кожаную перчатку на левой руке. Лампочка питалась от аккумулятора, висевшего на поясе. Операция сама по себе несложная, но снаряд весил 16 кг, а за ночь их приходилось перекидать несколько десятков. К концу налёта руки буквально отваливались. В паре со мной работал 35-летний инженер из Саратова. Он был близорук, очки плохо держались на носу, и пока он обрабатывал один снаряд, мне приходилось выдавать два или три. В пылу боя я орал на него, употребляя отнюдь не светские выражения, а потом мы оба извинялись друг перед другом, он — за то, что не успевал, я — за ругань и грубость.

Так называемые «интеллигенты» вызывали особую неприязнь у сержантов. В нашем взводе был бригадный архитектор на строительстве Дворца Советов — высокий, красивый латыш лет 40, по фамилии Вайтенс. Помкомвзвода сержант Фирсик (за глаза курсанты передразнивали его украинский выговор: «Сержант Хведор Хвырсик у тэлэхвона») с удовольствием растягивая слова, говорил перед строем: «Ва-ай-тенс! Сегодня будешь мыть туалеты». Наши с Вайтенсом койки стояли рядом. Как-то вечером я заговорил с ним и назвал его по имени и отчеству — Георгий Андреевич. Он был растроган. «Я уже забыл, как меня зовут, — сказал он, — всё Вайтенс, да Вайтенс».

Между прочим, «интеллигенты» вовсе не отличались особой щепетильностью, и тот самый Вайтенс, будучи в карауле, лихо очищал от картошки и моркови ближние огороды и варил великолепный борщ, в котором ложка стояла в буквальном смысле.

На «Гребешке» мы воевали почти три месяца. Воевали в основном по ночам. Это помогало переносить холод: наскоро сделанные землянки не

отапливались, а зима уже была на носу. За эти три месяца я освоил много солдатских должностей. Был установщиком взрывателя, потом — третьим номером — считывающим взрыватель, затем первым номером на ПУАЗО — совмещающим параллаксы и ветра и, наконец, телефонистом на коммутаторе. В течение всего ноября немецкая авиация совершала налёты на Горький почти ежедневно. Особенно интенсивно бомбили автозавод, причём бомбёжки эти проводились с железной регулярностью — в 22.00 налёт начинался и в час ночи заканчивался. Организация ПВО была никудышной, что позволяло немцам свободно хозяйничать в небе над городом. Позже приезжала комиссия из очень высоких чинов из Москвы, разбирались, было заменено командование Восточным Фронтом ПВО, и положение поправилось.

Однажды, в середине ноября был сильный ночной налёт. На этот раз бомбили в основном городские районы. Утром разнёсся слух, что разбомбили автобусный завод в Канавино. Напротив завода жила семья моей двоюродной сестры — девочки 15 лет. Я отпросился у командира батареи и помчался через только что замёрзшую Оку в Канавино. Автобусный завод горел. В доме напротив зияли чёрной пустотой выбитые окна. Ставни были сорваны. Дом пуст. Подошла старушка из соседнего дома.

— Кого ищешь, сынок?

— Сестра моя здесь живёт...

— Ночью на санитарной машине увезли, а живая, нет ли, не знаю.

Говорят, раненых в госпиталь возили на Краснофлотскую...

В госпитале меня провели в палату. Там на больничной койке лежала моя сестра. Вся голова, у неё была замотана бинтами, и только один глаз, наполненный болью и тоской, смотрел на мир. Осколок бомбы пробил стену дома и на излёте раздробил девочке кости лица, повредив глаз. Потом ей делали много пластических операций, глаз спасли, но шрамы остались на всю жизнь...

Сразу после Нового года нас сняли с огневых позиций и вернули в училище. Началась обычная, довольно нудная армейская жизнь.

Очень разные были люди в училище и среди курсантов и среди командиров. Вот коренастый рыжий лейтенант Маломуж, командир первого взвода. Насмешливый украинец с холодными серыми глазами. Судьба свела меня с ним через много лет, когда он (в то время уже полковник) был назначен командиром соединения, в котором я (тогда уже майор) служил. Потом он стал генералом, служил на разных высоких должностях и был достаточно известен в войсках ПВО.

Командир нашего взвода старший лейтенант Сдерёв. Полноватый, малоподвижный, он был каким-то равнодушным командиром. Училищная

работа ему не нравилась, он рвался на фронт. Меня он невзлюбил с самого начала. Через несколько дней после прибытия в училище нас, новое пополнение, выстроили раздетыми до пояса. Полковник — начальник училища — знакомился с нами. Он шёл вдоль строя, останавливался, перебрасывался несколькими словами с курсантами и командирами взводов. Рядом со мной стоял здоровенный парень из Сергача по фамилии Лаптев. Полковник остановился, постучал по Лаптевской могучей груди и с удовольствием произнёс: «Молодец, богатырь!» А потом перевёл взгляд на мою тщедушную фигурку с далеко не богатырской грудью (я весил тогда 45 кг, в школе у меня было прозвище «Молекула»):

— А это что такое? — как-то испуганно спросил полковник.

— Курсант такой-то! — бодро отрапортовал я.

— Спортом занимаешься? Сколько раз подтянешься на турнике? — допрашивал полковник.

— Двенадцать!

— Марш к снаряду!

Я легко подтянулся двенадцать раз, и довольный полковник проследовал дальше. Но несмотря на спортивные достижения, физической силы во мне было маловато, и это часто портило мне жизнь. В то время мы занимались на зенитных орудиях калибра 76 мм образца 1939 г. Для того, чтобы перевести такую пушку из походного положения в боевое, на гладкий ствол надевали толстый канат, солдаты расчета по трое с каждой стороны хватались за этот канат и по команде: «Канат, орудие!» переваливали пушку в вертикальное положение. А командир орудия переводил рукоятку стопора в боевое положение. Стопор был очень тугой, приходилось повисать на рукоятке всем весом, чтобы сдвинуть её с места. На занятиях в роли командира орудия выступали курсанты потяжелее и посильнее. Однажды совершенно неожиданно для всех командир взвода назначил командиром орудия меня. Я чётко подал все команды, но когда очередь дошла до стопора, я повис на рукоятке всем своим 45-килограммовым весом. Проклятая рукоятка не поддавалась. Вероятно, это действительно было забавно: задранный вверх дулом пушка и маленькая фигурка в серой шинели, извивающаяся на рукоятке в тщетных попытках сдвинуть её с места. Взвод смеялся. И громче всех смеялся командир взвода.

— Не будет из тебя офицера, — с наслаждением сказал он после занятий. Он ошибся. Через несколько месяцев перед выпуском, просматривая моё личное дело с отличными и хорошими оценками по всем предметам, он вздохнул и тихо сказал: «Ну, ты и хитрец!». Так или иначе, я носил на плечах офицерские погоны двадцать восемь лет, от одной маленькой звёздочки до двух больших. Взводный оказался плохим пророком.

Армейский взвод — это котёл, в котором кипит непередаваемая мешанина лиц, характеров, темпераментов. Нервный, изящный Виля Д. — москвич из семьи дипломата, два года живший с отцом в Америке, начитанный и остроумный, — и неповоротливый краснолицый увалень Костя из глухой вятской деревни, потешавший всех своим распевным вятским говорком. Ему очень тяжело давалась учёба, но запоминал он всё намертво и навеки. Впоследствии он с блеском окончил военную академию и в звании инженер-полковника возглавлял инженерно-ракетную службу в армии ПВО на Дальнем Востоке.

Маленький, суетливый, крепенький Мануйлов, умевший быстро втереться в доверие командирам, и застенчивый красноглазый альбинос Розанов, постоянно находившийся в прострации и красневший, как девушка, когда ему делали замечания. Крупный, нахальный горьковчанин Плоскин, первым получивший ефрейторские лычки, и чернявый, сутулый еврей из Кишинёва Шпильберг. Маленький щуплый Шпильберг был очень добрым человеком. Он постоянно кого-нибудь опекал, делился своим хлебом, у него всегда можно было одолжить бритву, сапожный крем и прочие нехитрые вещи. Высокий красивый архитектор Вайтенс и низенький красноносый инженер Ионов, всегда неряшливо одетый, в очках и с обручальным кольцом на пальце.

В апреле снова начались налёты на Горький, и мы заняли огневую позицию недалеко от училища в районе завода шампанских вин. Поскольку днём налётов не было, мы нормально занимались, а через час-два после отбоя раздавался сигнал тревоги, мы хватали оружие, противогазы, шинели в скатках и мчались на позицию, занимали места у орудий и приборов и несколько часов палили заградительным огнём. Утром нам давали поспать пару часов, и снова начинались занятия.

Так прошла весна, за ней лето 1943 года. За это время завершились сражения под Сталинградом и на Курской дуге. Война вплотную приблизилась к границам Украины.

В конце июля нам объявили, что в связи с острой потребностью армии в офицерских кадрах, государственные экзамены отменяются, и нас выпустят досрочно младшими лейтенантами. А через несколько дней все мы, в полевых погонах с одной звёздочкой, толпились во дворе штаба Восточного фронта ПВО, ожидая назначения. В тот же вечер мы — я и трое моих товарищей — сидели в поезде, который увозил нас на восток, в приуральский городок, где формировался зенитно-артиллерийский полк.

## Часть вторая

### 1. Мы едем на войну

Медленно, невообразимо медленно ползёт наш эшелон по только что наведенному понтонному мосту. Мост плавно покачивается. На той стороне реки — Киев. А эшелон движется из Дарницы. Все тринадцать суток пути эшелона на запад были окутаны страшной тайной. Конечный пункт маршрута не знали даже полковые начальники. Но тайна, как известно, вещь относительная. Дня за два до прибытия по эшелону разнёсся слух, что мы следуем в какую-то Дарницу. Сначала никто не мог разъяснить, где эта самая Дарница. Но потом нашлись знатоки, которые уверяли, что Дарница — чуть ли не пригород Киева. Полторы недели назад Киев был освобождён, понтонный мост через Днепр уже навели, и вот медленно, невообразимо медленно ползёт наш эшелон навстречу великому Городу.



*Уриэль Эпштейн*

Сейчас ноябрь. Ноябрь 1943 года. А путь на Киев начался для меня четыре месяца назад в маленьком приуральском городе. Я — младший лейтенант, командир взвода управления зенитно-артиллерийской батареи. Месяц назад мне исполнилось девятнадцать. А ещё раньше, в августе, в числе сотни других курсантов — выпускников училища зенитной артиллерии, я получил полевые погоны с одной звёздочкой, кирзовую кобуру, пластмассовую мыльницу и офицерскую портупею. Остальная амуниция осталась курсантской, то есть солдатской. Перед отъездом в часть мы с приятелем — свежее испечённые офицеры — шли по немногочисленной улице, и какой-то немолодой старшина перешёл на строевой шаг и отдал нам честь по всем правилам воинской выучки. Мы стояли ошеломлённые. Лишь пару дней назад старшина был для нас высоким начальством, непререкаемым авторитетом. Вот тут мы ощутили сладкое бремя власти и холодок ответственности, которую нам предстояло где-то и за кого-то нести.

Меня направили в полк, который формировался далеко от фронта, в Приуралье. Красивое слово «формировался» по сути ничего не означало. Полк был полностью укомплектован личным составом и... больше ничем. Не было техники, не было стрелкового оружия, практически не было никаких запасов обмундирования и обуви. И самое главное — не было цели, хоть какой-то боевой задачи. Вероятно для того, чтобы занять чем-то людей, решили оборудовать огневые позиции. Целыми днями солдаты рыли оружейные дворники, батарейные и дивизионные КП, землянки для размещения расчётов, пищеблоки, столовые, хозяйственные помещения. Специально отряжали команды для заготовки леса, фанеры и других стройматериалов. Меня со взводом отправили на заготовку леса в приуральскую тайгу, в Пермскую область. Жили мы на лесном кордоне недалеко от пристани Галёво на Каме. Кормились продуктами, которые сержант-узбек, назначенный старшиной, еженедельно привозил со склада части. Я лично делил хлеб, сахар и другие продукты, но всё равно их было катастрофически мало. Я решил проверить, насколько честно выдают продукты на складе и вместе со старшиной отправился в часть. После получения продуктов я потребовал взвесить всё заново, заведующий складом поднял крик, я пригласил комиссара полка и при нём взвесили всё заново. Оказалось, что каждый раз на складе недоставляли значительную часть хлеба и других продуктов. С питанием стало лучше. Помогали грибы, в изобилии росшие вокруг кордона. В лесу часто появлялись лоси, и один из моих солдат — сибиряк и охотник — предложил добыть зверя и тем подержать солдатский рацион. Целый день мы с карабином бродили по лесу, но не встретили ни одного лося. На следующий день утром лесник, живший

на кордоне принёс тушу молодого лося и подарил нам.

Плохо было с обмундированием. Солдаты щеголяли в рваных гимнастёрках, босиком. Кормили по третьей норме. Ох, эта третья норма! Норма для запасных частей. Ржаные галушки, плавающие в супе, заправленном хлопковым маслом, и неизменная перловка — шрапнель. Участились случаи цинги. Я тоже ей переболел. Хвойный экстракт, который выдавали в санчасти, не помогал. Вылечился я брусникой, которую жевал, запихивая горстями в рот.

К концу октября батареи были оборудованы полностью. Можно было получать технику. Но техники не было. В это время на батарею сменился командир, и вместо недалёкого грубияна старшего лейтенанта Данильченко прислали лейтенанта Байкина. Это был красивый, подтянутый человек, имевший высшее образование, лет тридцати. Я многому научился у него. Он учил меня правильно ходить, поддерживать свой и чужой авторитет, общаться с подчинёнными. После войны он закончил аспирантуру философского факультета при Киевском университете и будучи кандидатом наук, доцентом, много лет в том же университете преподавал. Всё время мы поддерживали с ним дружеские связи. Кстати, он мечтал попасть в Киев, который 6 ноября был освобождён.

10 ноября мы получили приказ бросить все с таким трудом оборудованные позиции и грузиться в эшелон для отправки на фронт. Погрузка проходила очень примечательно.

Выпал первый снег. Температура минусовая. Замёрзла река. Раздетые и босые солдаты проводят время у печек-буржеек, которые топят строительным мусором. До станции погрузки — 8 км. Приходит старшина из штаба дивизиона и приносит 11 пар лаптей. Одиннадцать солдат обувают лапти и совершают марш-бросок на станцию. Там они садятся в теплушку, сбрасывают лапти, и один из них возвращается на батарею с 10-ю парами солдатско-крестьянской обуви. Отправляется следующая десятка. Батарею переправляли два дня.

Но вот погрузка завершена. В двух теплушках, оборудованных деревянными нарами, размещена вся батарея. В одном вагоне девушки (их немногим меньше половины), в другом — парни и два офицера. Командир батареи остался сдавать кому-то оборудованные позиции и должен был догнать эшелон в пути.

Стучат колеса, вагон наполнен махорочным дымом. По вечерам солдаты поют проникновенные украинские песни, поют хорошо, слаженно. Останавливаемся редко, остановки короткие. На остановках по эшелону передают команды: «Старшим по вагонам — в голову эшелона!» У третьего

вагона толпятся офицеры и старшины. Пожилой капитан, начальник ОВС, стоит в дверях теплушки и выкрикивает:

— Первая батарея! — в толпу летят связанные блоками сапоги, телогрейки, шапки, ватные брюки.

— Вторая батарея!

Наша батарея двадцать пятая, последняя, поэтому очередь до нас доходит через несколько остановок. Но это не беда. Теперь мы одеты, и обуты, готовы воевать. Но воевать пока нечем — технику должны прицепить где-то за Арзамасом. Впереди Москва, но эшелон обходит её стороной. Мы едем через Тулу на Орёл и Курск. Остановки становятся дольше, иногда эшелон стоит в поле по несколько часов. Отрабатываем действия по воздушной тревоге.

Курск. Три месяца назад здесь проходило одно из величайших сражений второй мировой войны. В налёте на Курск участвовало более 500 самолётов. Медленно проезжает эшелон вдоль разбитых, разрушенных, обугленных зданий, станционных сооружений. Вот она война! Укатилась на запад, оставив эти колотые, резаные, рваные раны. И дальше — на всех станциях одно и то же: обломки, следы пожаров, обгорелые остовы зданий.

И вот на тринадцатый день пути мы медленно, невыразимо медленно ползём по только что наведенному понтонному мосту навстречу великому Городу.

Вечереет. Выгрузка закончена. Техника (её все-таки прицепили) ждёт тягачей на разгрузочной платформе. Личный состав разместился в огромном задымленном и совершенно пустом пакгаузе на товарной станции. Через каждые десять-пятнадцать метров полыхают костры. Над огнём котелки — варится неизменная пшенная каша из брикетов, полученных на сухой паёк. Офицеры пристраиваются к солдатским кострам. До утра приказано ждать на месте. Лица у всех в саже, шинели закопчённые. На ночь располагаемся у тех же костров, оставляя очередных дневальных. Пакгауз наполняется храпом, сонным бормотанием, вскриками. Первая киевская ночь.

Наутро прибывают тягачи, цепляют пушки и приборы, загружают имущество, вдоль бортов садятся уже вооруженные карабинами солдаты, офицеры садятся в кабины — полк трогается на заранее выбранные позиции. Наша батарея двадцать пятая — это опять последняя очередь, для нашего имущества не хватило места в тягачах. Поэтому командир огневого взвода с техникой и личным составом отправляется на позицию, а я остаюсь караулить имущество до следующего рейса. В помощь мне дали пожилого (т. е. лет сорока) сержанта. У меня револьвер «Наган», у сержанта карабин. Ни продуктов, ни денег у нас нет, обещали забрать нас и имущество через

несколько часов. И действительно, часа через три прибывает полуторка, забирает наше имущество, но места для нас опять не остаётся. Нам подробно объясняют, где можно найти батарею (Петропавловская Борщаговка — километров 15 на запад) и советуют добираться попутным транспортом. Надо двигаться. Но со вчерашнего дня мы ничего не ели. Весь сухой паёк давно израсходован. И тут сержант добывает из вещмешка пару крепких солдатских ботинок. Не знаю, насколько это согласуется с моральными принципами, но я не стал интересоваться, каким путём попали ботинки в сержантский вещмешок.

Мы бодро выходим с территории товарной станции. На улицах пусто. Людей почти не видно, только у колодцев на тротуарах группки с вёдрами. Колодцы затоплены водой, а водопровод в городе не работает. Так по пустой улице мы шагаем к базару. Переходим через дорогу и вдруг! Тысячи людей на базаре. Продают всё, в основном немецкого происхождения — консервы, водку, обмундирование. Шум, толкотня... Какой-то оборванец предлагает подозрительную мазь и кричит исступленно: «Где бы ни была ваша мозоль — на пальце, под пальцем, между пальцами — два сеанса, и вы без мозолей!» Женщины продают огромные плоские пироги с маком, по 10 рублей за штуку. Тут же зазывают напёрсточники, гадалки, фокусники...

Мы быстро продаём ботинки за 400 руб. и покупаем буханку чёрного хлеба и небольшой кусок сала. Теперь можно спокойно отправляться в путь.

Мы не торопясь идём по Красноармейской улице по направлению к Бессарабке. Оба мы впервые на Украине. С любопытством читаем сохранившиеся вывески: «Перукарня», «Майстерня лагодження взуття», «Кондвироби». Слова непонятные, но какие-то знакомые. Долго стоим перед вывеской «Господарчі речі».

— Наверно, адвокатура, — замечает сержант.

Мы выходим на Бессарабку. В центре площади возвышается виселица из кривых стволов. На ней три трупа. Прохожие объясняют, что повешенные — два немецких офицера и бургомистр Киева. С Бессарабки виден Крещатик. Впрочем, какой Крещатик? Нет Крещатика. Есть дымящиеся развалины, кое-где ещё вырываются языки пламени, и везде щебень, кирпич, груды обломков и узкая дорожка между этими грудями.

Мы сворачиваем на бульвар Шевченко и шагаем дальше, мимо обугленного, багрово-черного здания университета, через кипящий Евбаз — еврейский базар, и дальше, к исковерканным и перекрученным останкам завода. «Большевик».

По обочинам дороги, на заборах и стенах зданий фанерные таблички с нарисованными стрелами и надписями: «Хозяйство Петренко», «Хозяйство Кривоногова» и тому подобное. Хозяйство — в смысле воинская часть или

подразделение (надо хранить военную тайну). Табличек с фамилиями наших командиров нет. И тут нам на помощь приходит Его Величество Случай. Мимо проезжает полуторка, в которой сидит наш командир батареи, тот самый, который должен был догнать эшелон в пути. Мы отчаянно кричим и машем руками. Машина притормаживает, и мы, цепляясь за задний борт, вваливаемся в кузов.

Мы приехали на войну.

## **2. Как мы воевали**

Мы приехали на войну, хотя линия фронта была от нас достаточно далеко — под Житомиром и Белой Церковью. Впрочем, штаб фронта, точнее командный пункт Командующего 1-м Украинским фронтом, которому мы оперативно подчинялись, располагался в той же Борщаговке, в 500 м от нашей батареи. Пользы от такого высокого соседства было мало. В первую же ночь, когда начался налёт и батарея открыла огонь, на позицию с визгом влетел «Виллис», и какой-то майор, представившийся офицером штаба фронта, потребовал немедленно сменить позицию и убраться не менее, чем на 1 км севернее: огонь батареи демаскирует КП Командующего фронтом. После телефонных переговоров нам приходится свернуть технику и совершить марш, на новую ОП подальше от высокого начальства.

Тут необходимо кое-что пояснить. Наш полк входит в состав корпуса войск ПВО Страны. Задачей войск ПВО была оборона важнейших объектов — городов, заводов, крупных аэродромов и т. п. А в составе фронтов, армий были свои средства ПВО — войсковые. Они-то и обороняли КП, штабы, войсковые соединения и части от воздушных налётов. Поэтому частенько интересы частей ПВО Страны и войсковых объединений не совпадали.

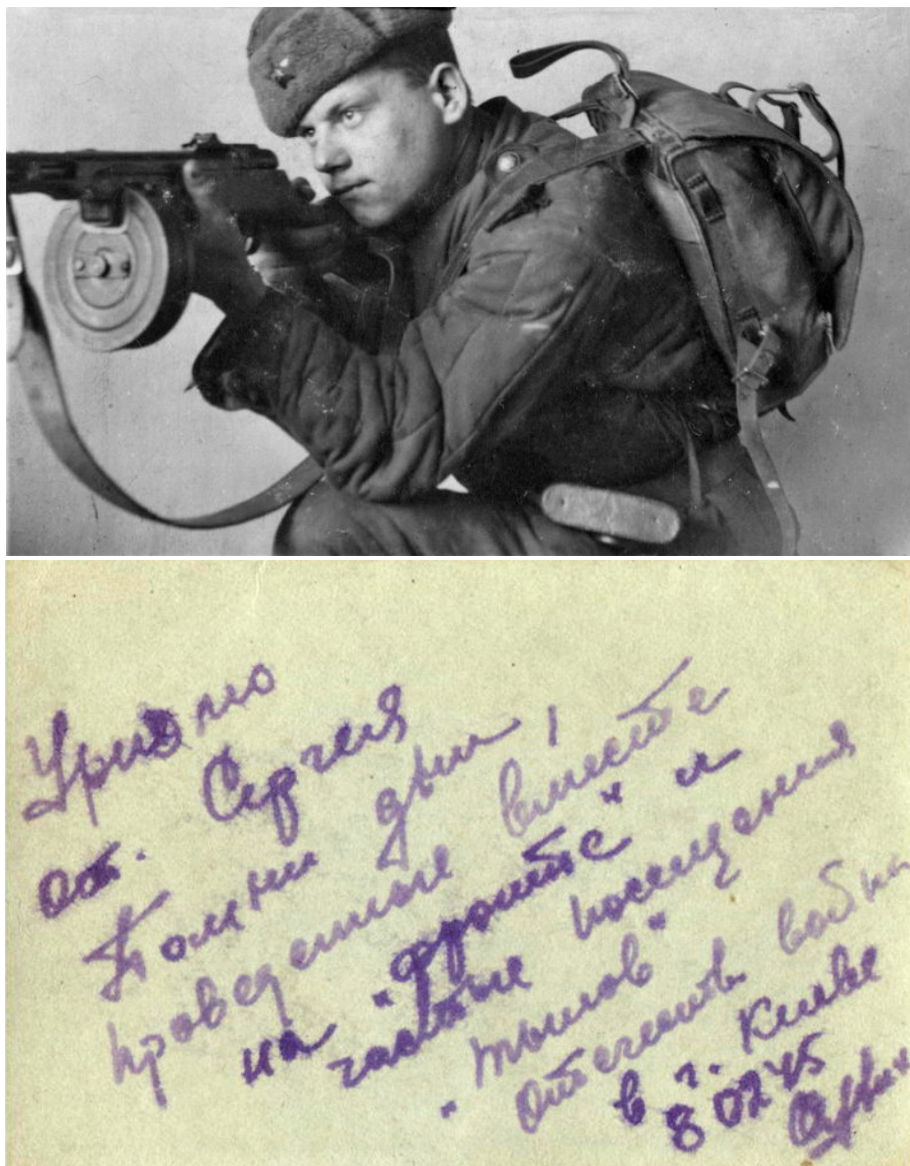
По этому поводу вспоминается такой случай. Несколько позже, когда я служил в зенитно-пулемётной части, оборонявшей эшелоны, следовавшие на фронт и с фронта, рота ДШК (зенитные пулемёты 12,7-мм), которой я командовал, сопровождала к фронту эшелон с боеприпасами. Наш эшелон стоял на небольшой станции ЮЗЖД. Ночью начался налёт и рота открыла огонь по немецким штурмовикам. Через несколько минут после начала стрельбы ко мне в вагон ворвался капитан — военный комендант станции и потребовал немедленно прекратить огонь.

— Вы, может, и собьёте пару самолётов, а мне всю станцию разбомбят! — кричал он. И приказал немедленно загнать наш эшелон под крытую эстакаду.

— В пути палите сколько угодно, а тут помалкивайте и не демаскируйте станцию.

Наверно, он был прав.

Но вернёмся к нашей «пэвэошной» войне.



*Уриелю от Сергея... (Киев, 1945 год)*

Аббревиатуру ПВО недоброжелатели издевательски расшифровывали так: «Пускай воюют остальные», «Пока воюют — отдохнём» и т. п. В какой-то степени это соответствовало действительности. В частях ПВО не ходили в атаки, не вели штыкового боя, не захватывали пленных, не занимали (и не оставляли) города. Вообще, солдат ПВО за всю войну мог ни разу не выстрелить из автомата или карабина. Конечно, служба в войсках ПВО была несравненно комфортнее (если можно так выразиться), чем в многотрадной пехоте или в танковых войсках. И естественно более безопасной. Однако, были свои особенности и трудности в этой службе.

Сразу оговорюсь, что речь пойдёт о службе в подразделениях (батареях, дивизионах) и частях. Особенности службы в больших штабах (дивизия, корпус, армия, фронт) одинаковы на мой взгляд для всех родов войск и о них мы здесь говорить не будем. Кроме того, я ограничиваюсь частями зенитной артиллерии, оставляя в стороне истребительную авиацию и части ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь).

Во-первых, в большинстве случаев «пэвзошники» практически не знают отдыха. У них постоянная боевая готовность. А это значит — есть налёты или нет налётов, далеко противник или близко, техника всегда должна быть готова к бою, личный состав на рабочих местах. А это значит — многие месяцы, а то и годы спать, не снимая брюки, почти не отлучаясь с огневой позиции. А это значит — ночные дежурства по 4 часа у орудий и приборов независимо от вероятности налётов. Это постоянное напряжение, огромная ответственность за безопасность охраняемого объекта. И ещё один фактор. Люди, прошедшие войну, знают, что нет ничего страшнее бомбёжки, когда хочется вжаться в землю и не слышать смертельного воя и грома. А зенитчики обязаны выполнять боевую задачу в любой обстановке. По сигналу воздушной тревоги в подразделениях других родов войск люди стремятся рассредоточиться, укрыться. Зенитчики, наоборот, занимают боевые посты и ведут бой. И когда командир огневого взвода, стоя в неглубоком окопчике в центре огневой позиции с флажком или фонариком в руках, командует огнём, а кругом гудят самолёты, гул от взрывов бомб и пушечных залпов, свистят осколки бомб и шуршат осколки снарядов соседних батарей, и всё это (если ночью) обито мертвенным светом САБ (светящихся авиабомб), а тут ещё следы, чтобы голос не срывался и не дрожал — для этого тоже нужно немалое мужество.

Вспоминается первый бой, которым мне довелось командовать. На батарею нас, офицеров, было двое — командир батареи и я — командир взвода. Командир батареи с вечера был не в себе. Кто-то принёс на батарею крепчайший первач и лейтенант солидно перебрал. На рассвете прозвучал сигнал тревоги. Разведчик доложил об обнаружении немецкого бомбардировщика Ю-88. Командир спал, все попытки разбудить его оказались тщетными. Командование пришлось принять мне. Всё было готово к бою, вражеский самолёт обнаружили и поймали в прицелы дальномерщики, наводчики ПУАЗО взяли цель в перекрестия визиров. А я стоял на БКП молча — все команды вдруг вылетели из головы. «Высоту!» — отчаянно закричал командир расчета ПУАЗО. И я опомнился.

— По самолёту над первым... Высота 120! Гранатой! Темп пять!

Грохнули орудия. Залп, второй... И крик дежурного телефониста: «Приказано прекратить огонь!» Пушки смолкли. Меня срочно вызвали к

телефону. Командир дивизиона в довольно резкой форме поинтересовался, какого черта я открыл стрельбу.

— Так немец же, Ю-88, — оправдывался я. Оказалось, что в светлое время по одиночному самолёту огонь должны открывать только батареи, назначенные командиром дивизиона. По молодости и неопытности я этой инструкции не знал.

— Где комбат?

— Болен он, — ответил я.

— Сколько снарядов израсходовал?

— Десять, — наобум ответил я.

— Так вот, за каждую пару — сутки домашнего ареста. Посчитал?

— Так точно, — уныло ответил я.

Так закончился мой первый бой и началось моё первое служебное взыскание. В то время домашний арест был наказанием чисто символическим. Всё равно с батареи никуда отлучаться было нельзя, а то что за каждый день ареста высчитывали 25% дневного оклада, не очень волновало — деньги всё равно тратить некуда.

Вот описание одного дня зенитной батареи. С утра солдаты и офицеры заняты повседневной работой: надо почистить и проверить орудия, приборы, стрелковое оружие, подготовить и сложить ящики со снарядами, что-то выкопать, что-то закопать (такая работа всегда есть на батарее). Дежурный разведчик на БКП с биноклем и бинокулярным искателем (БИ) всё время обшаривает небо, дежурный телефонист бубнит, проверяя связь с КП дивизиона и со своим наблюдательным пунктом (НП).

Внезапно разведчик кричит: «Воздух, над третьим, мессершмитт-110, курс 125, высота 130!»

Звонкие удары в рельс, команды: «Готовность №1! К орудиям и приборам!»

Доклады: «Первое готово! Второе готово! Прибор готов! Дальномер готов!»...

Уверенная команда командира батареи: «По самолёту над третьим, гранатой, темп пять, высота 130, беглый... огонь!»

Командир огневого взвода машет флажком, гремят залпы. Тут очень хочется написать: «И объятый пламенем, фашистский стервятник рушится на землю». Однако это случается очень не часто. Вероятность поражения невысока и чаще всего самолёт удастся отогнать — это считается выполнением боевой задачи. Самолёт уходит. Отбой.

Поздно вечером опять звенит рельс: «Готовность № 1! К орудиям и приборам!»

На этот раз огнём управляет командир дивизиона со своего КП. Отчётливо слышен гул приближающихся самолётов. Появляются гроздья САБ. По небу мечутся лучи прожекторов. Мы ведём заградительный огонь. Это заранее рассчитанная огневая завеса на пути вражеских самолётов, которую ставят все батареи вместе. Это нудная работа. Каждое орудие, установив скомандованные данные, делает выстрел, доворачивает на какую-то величину влево (вправо) и вверх (вниз), снова стреляет, опять доворачивает и так далее.

Цели не видно, всё небо в разрывах, от грома орудий и взрывов бомб ломит в ушах. Иногда за один бой батарея выпускает до 400 снарядов.

Наконец, поздно ночью — «Отбой». Заваливаемся спать, оставив наблюдателей у орудий, дежурных.

Четыре часа утра. Звенит рельс, но медленно — «Бом-м, бом-м...». Батарея заступает на дежурство. В течение суток, посменно, по четыре часа, каждая батарея несёт боевое дежурство, то есть все люди на своих боевых местах и в любую минуту готовы к открытию огня. Чтобы солдаты были при деле, отрабатываются различные приёмы стрельбы, и четыре часа на позиции звучат команды:

- Включить свет. Проверить передачу!
- По самолёту, над первым...
- Заградительный! Азимут 000, угол возвышения 000, взрыватель 000!..
- По штурмовой! Взрыватель 00!..
- По САБ!.. По парашютистам!..

В восемь утра батарея снимается с дежурства, и если позволяет обстановка, солдаты спят до 10.00. И начинается новый день.

Естественно, потери зенитчиков на войне были неизмеримо меньше, чем в других родах войск: противник, как правило, бомбит объекты, а не огневые позиции, однако иногда подавлялись и специально средства ПВО. Во время налёта 30 апреля 1944 года бомба попала прямо в прибор ПУАЗО, погибли одиннадцать девушек. Несколько раньше мы хоронили четырёх офицеров из штаба полка, погибших при бомбардировке, в том числе и пожилого начальника ОВС, выдававшего нам обмундирование в пути.

Потом командир 19-й батареи, наводчик третьего орудия, командир пулемётного расчёта. Всё это были горькие потери. У каждого человека жизнь одна.

### **3. Лицом к лицу**

Как правило, зенитчики ПВО выполняли боевую задачу на порядочном удалении от передовой линии. Поэтому непосредственно с противником мы

не сталкивались. Наш противник был в небе и назывался он отвлечённым словом «Цель», не имевшим, казалось, отношения к чему-то живому, человеческому. Но иногда эта «цель» превращалась из механического понятия в нечто конкретное. Если батарея успешно вела огонь, и на ДКП шёл победный доклад «цель уничтожена», этот доклад мы должны были подкрепить вещественно, то есть со сбитого самолёта следовало снять номер и доставить его по начальству. Эта задача возлагалась, как правило, на командира взвода управления. Когда я с двумя солдатами впервые прибыл на место падения Мессершмитта-109, он ещё горел. Мы кое-как затушили пожар, сняли номер.

— А где же лётчик? — поинтересовался я.

— Да вон он, — ответил солдат и показал на кусты. Под кустами дымились какие-то маслянистые черно-коричневые обрубки, похожие на недогоревшие толстые поленья, с острым запахом. Ничего человеческого в этих обрубках не было.

Мне стало не по себе. Отвлечённая «цель» превратилась в эти головешки, когда-то бывшие человеческим существом. Нет, я не почувствовал угрызений совести, жалости или чего-нибудь подобного. Мне было девятнадцать лет и в моём сознании всё было разложено чётко и недвусмысленно. Они — враги, они прилетели нас убить, поэтому мы убили их. Всё правильно. И всё-таки не было радости или торжества, было тоскливо и грустно.

За всю войну я не видел живого, не пленного немца. Встречал я либо пленных, либо мёртвых. Первого моего «пленного» я «захватил» в районе нашей позиции возле Петропавловской Борщаговки. На батарею прибежал местный житель — старик и рассказал, что в хате его соседки кто-то прячется. С двумя бойцами я отправился к соседке. Нестарая ещё женщина не стала отпираться и привела нас к подполу. Мы спустились вниз и вытащили на свет Божий немецкого солдата без оружия, в поношенном мундире, босиком. Он стоял, подняв вверх большие крестьянские руки, а женщина тихо плакала в углу. История была грустной. У этой крестьянки погиб муж, детей не было. Солдат из стоявшей неподалёку зенитной батареи стал захаивать к ней, помогал по хозяйству, оставался ночевать. А когда немцы стали отступать, солдат дезертировал и остался у крестьянки, которая прятала его и от немцев, и от своих. Честно говоря, этот «фриц» мало напоминал свирепого фашистского оккупанта.

После этого мне неоднократно приходилось встречаться с целыми группами пленных немецких солдат и офицеров. Об одной такой встрече стоит рассказать. Было это осенью 1945 года. Я получил первый после войны отпуск. Достать билет на пассажирский поезд мне не удалось и я ехал в так

называемом «пятьсот весёлом» — товарно-пассажирском поезде, в необорудованном «телячьем» вагоне. Ехали мы долго, питались на продпунктах, а спали в теплушке на полу, укрывшись шинелями и подложив под голову вещмешок. На одной из станций в наш вагон посадили троих пленных немецких офицеров под охраной сержанта и солдат. Двое пленных забились в угол, а третий держался отдельно и пытался вступить в разговор с охранником. Сержант его не понимал. Я прислушался и пояснил сержанту, что пленный просит разрешения купить пару огурцов. Пленный радостно заговорил по-немецки, а потом вдруг спросил, не говорю ли я по-английски. Я ответил. Охранник не возражал, и у нас завязалось что-то вроде беседы. Пленный рассказал, что он родом из Гамбурга, студент, некоторое время жил с родителями в Лондоне, поэтому говорит по-английски. Рассказал он также, что те двое — жест в угол — офицеры СС, их везут в трибунал судить, а он будет там выступать, как свидетель. Он выразил удивление по поводу того, что советский офицер едет в таких, мягко говоря, странных условиях. «У нас, — заявил он, — такое невозможно». На это я с чувством «собственной гордости» ответил, что я еду плохо, но в отпуск после победы, а его везут под охраной в суд. На следующей остановке пленных высадили.

#### **4. Как я был шпионом**

В конце 1943 года меня на короткое время прикомандировали к штабу полка в качестве офицера связи. В мои обязанности входило два раза в сутки — утром и вечером — доставлять в штаб корпуса боевые донесения и другие документы с грифом «секретно». Транспорта в полку не было, и я вышагивал по 30 км в день пешком. В общем, весь день я практически был в дороге.

Однажды, возвращаясь днём из штаба корпуса, я наткнулся на военный патруль. Обстановка была беспокойная, немцы взяли Житомир, на улицах в Киеве комендантские патрули хватали самовольщиков, отставших от частей, и направляли их в маршевые роты. Патруль — лейтенант и двое солдат — потребовал мои документы. А нам, офицерам связи, ещё не успели выдать удостоверения, из документов у меня была лишь расчетная книжка. Книжка эта была в своё время залита некоей жидкостью из разбитой бутылки в эшелоне и записи там расплылись. Увидев мой «документ», лейтенант вытащил из кобуры пистолет и приказал следовать в комендатуру. Я показывал ему расписки в получении документов, уверял, что мой штаб в пяти минутах ходу, а до комендатуры добрых пять километров. Видимо, тащиться в комендатуру ему тоже не хотелось, и мы пошли в штаб нашего полка. Но в

штабе было пусто, мебель вывезена, комнаты пусты. Мой лейтенант снял пистолет с предохранителя и мрачно скомандовал: «Пошли!»

И тут на моё счастье появился начальник связи полка. Оказывается, штаб переехал в другое место, а он снимал оставшиеся линии связи. Капитан предъявил свои документы, удостоверил мою личность, и лейтенант, облегчённо вздохнув, спрятал пистолет в кобуру.

## **5. Как мы ловили шпионов**

Это случилось в конце 1944 года. Фронт ушёл далеко на запад, налёты почти прекратились. Жизнь у нас на батарее стала размеренной и относительно спокойной. Даже отоспались немного.

Однажды ночью раздался телефонный звонок. К телефону вызвали меня. Говорил начальник политотдела. Он приказал взять автомат, выйти на дорогу и ждать машину — предстоит ответственное задание.

Через полчаса я сидел в машине с полувзводом вооружённых солдат. По дороге узнал об «ответственном задании». С одного из НП в районе с. Макаров доложили, что у них задержаны подозрительные люди, иностранцы в военной форме, но на немцев не похожи. Говорят на непонятном языке. Скорее всего — шпионы.

На НП мы застали впечатляющую картину. На полу лежали со связанными руками лицом вниз двое мужчин в военной, но не нашей форме, а над ними, наставив карабины с примкнутыми штыками, стояли четыре девушки — телефонистки и разведчицы — бледные от страха, но сосредоточенно-серьёзные. Выяснилась следующая история.

В начале ночи в хату, где жили девушки, постучали, и какой-то мужчина на ломаном русском языке попросил хлеба и воды. Разглядев военную форму и услышав нерусскую речь, девушки решили, что это шпионы, схватили карабины, заставили гостей лечь на пол и связали им руки. Всё это они рассказали, перебивая друг друга и задыхаясь от волнения. Меня же, оказывается, захватили в качестве переводчика, поскольку, как бывший студент ИнЯза я немного владел немецким и английским. Тут же были проверены документы задержанных и снят первый краткий допрос. Парни оказались сержантом и солдатом американских ВВС из экипажа Б-17 «Летающая крепость». Их посадили в машину и доставили в штаб. Разместили в отдельной комнате, а меня приставили переводчиком. Относились к ним уважительно — союзники! На допросе они рассказали, как попали к нам. Их эскадрилья базировалась на авиабазе Фоджиа в Италии. Они летели бомбить Берлин. Но по дороге их подбили зенитчики, они сбились с маршрута и совершили вынужденную посадку где-то в

Польше. А там как раз шли бои с какими-то партизанскими группами — не то с бандеровцами, не то с немцами. Командир разбил весь экипаж на пары и приказал пробиваться в Одессу, где находился пункт интернирования. Наша пара несколько дней ночами брела по Украине, изголодалась и в конце концов вышла на героических девушек с НП.

Двое суток они ждали решения своей участи. Их хорошо кормили. Повар изо всех сил старался угодить союзникам, приготовил селёдку с луком и подсолнечным маслом, но мои подопечные наотрез отказались её есть, заявили, что у них не едят сырую рыбу. Мы мирно беседовали, они рассказывали о своих семьях в штате Милуоки, о жизни в далёкой и непонятной Америке. На третий день приехал капитан из отдела «Смерш» армии. Он остро глянул на пленников, вытащил из кобуры пистолет и бросил мне:

— Переведите им — при малейшей попытке к бегству стреляю без предупреждения.

Я перевёл. Американцы враз побледнели и стали что-то лопотать, заверяя, умоляя... Их вывели и посадили в закрытую машину. Капитан вложил пистолет в кобуру и снисходительно пояснил: «Это последняя пара. Остальных мы уже выловили. Мы еще разберёмся, как это они попали на нашу территорию и кто их заслал».

Мы стояли молча, в каком-то подавленном состоянии. С одной стороны надо было гордиться: диверсантов поймали, а с другой — никак не верилось, что эти простые парни с «Боинга» — диверсанты.

Много лет спустя, уже в 90-е годы я узнал, что многие американские военнослужащие, интернированные на территории СССР, были брошены в лагеря и там погибли. Вот такая детективная история.

## **6. На противотанковой обороне**

В конце декабря 1943 года немцы предприняли контрнаступление на житомирском направлении, взяли Житомир, Коростышев и двигались к Киеву. В такой сложной обстановке было принято решение снять с ПВО объекта несколько батарей и поставить их на ПТО — противотанковую оборону. Нашу батарею расположили вдоль Брест-Литовского шоссе у с. Макаров — две пушки с одной стороны, две — с другой. К вечеру закончили развёртывание и окапывание, навели связь взаимодействия с танковой частью, стоявшей неподалёку в лесу. Командир батареи дал команду оставить наблюдателей у каждого орудия, остальным отдыхать. Но отдыхать не пришлось. На позицию влетел «Виллис», из которого вышел известный, по всем частям ПВО генерал-майор, командующий ПВО I Украинского

фронта. О нём ходили легенды. Великолепный артиллерист, человек очень резкий и грубый, он отличался весьма негенеральскими чертами: не пил, никогда не ругался матом и (о ужас!) был беспартийным. Он всегда носил с собой суковатую палку, которую по слухам нередко пускал в ход.

Генерал, не торопясь, обошёл позицию, осмотрел орудия и потребовал карточки ориентиров для стрельбы по танкам. Карточек не было. Комбат надеялся, что командиры орудий составят их с рассветом, а танки не успеют подойти к этому времени. Это был промах. Стрелять по танкам без ориентиров — стрелять вслепую. Генерал страшно ругался (без мата). Он грозил комбату расстрелять его на месте или повесить на Крещатике. Мы знали, что это не пустые угрозы — он имел широкие права.

— Где командир огневого взвода? — кричал генерал.

Командир огневого взвода, медлительный, основательный сибиряк с примечательной фамилией — Топтыгин — стоял в своём окопчике. Генерал подскочил к нему и взмахнул рукой. Потом бросил комбату: «Через час проверю» и уехал. Мы кинулись к лейтенанту.

— Что он тебе сделал?

— Палкой ударил, — задумчиво пробасил Топтыгин, — а я и увернуться не успел.

Ровно через час генерал приехал снова, молча обошёл позицию, просмотрел карточки ориентиров и так же молча уехал. Танки на нашем участке так и не появились. Подошедшие свежие части сибиряков остановили контрнаступление немцев, а мы вернулись на свои позиции.

## **7. За дезертирами**

Не всегда и не везде всё складывалось так, как требовали строгие уставы и дисциплина. Происходили ЧП — чрезвычайные происшествя, особенно неприятные в военных условиях. Но из песни слова не выкинешь.

На батарее раскрыли шайку воров. Четыре человека — два сержанта, ефрейтор и солдат, под руководством ефрейтора, бывшего уголовника из Одессы, совершали по ночам налёты на крестьянские дома, погреба и огороды. Попались они на краденой корове, которую разрубили на куски и спрятали в дезинфекционной камере. Хозяин коровы по следам крови нашёл её. Был трибунал, всех осудили с заменой тюрьмы штрафным батальоном. У всех четверых на батарее были свои «дроли». Каким-то образом девушки узнали, что эшелон, которым отправляли осуждённых на фронт, пройдёт мимо батареи, и дезертировали. Дезертирство, правда, было необычное — не с фронта, а на фронт, тем не менее ЧП есть ЧП.

Я получил задание догнать эшелон и вернуть беглянок. Со мной ехал тот самый сержант, с которым мы добирались на батарею в день прибытия. Ехали мы на товарняках, на платформах, в тамбурах. Первая станция — Фастов. Ищем военного коменданта. Станция темна и пуста. Нигде ни огонька, ни человека. Наталкиваемся на какой-то лаз, откуда мерцает огонёк. Там укрылся дежурный по станции. Он объясняет: «Бомбят каждую ночь. Все попрятались. А эшелон ваш давно ушёл на Казатин, еще днём. До утра всё равно ничем не доедете. Ищите, где переночевать».

Мы отправились в город. Он пуст, тих и тёмн. Жители прячутся в подвалах, в лесу. На окраине находим убогую хатку — старушка уже ничего не боится. У неё проводим спокойную, к нашему счастью, ночь. Утром в путь, на Казатин. В Казатине эшелона нет. Дальше — Калиновка. Военный комендант сообщает, что по его сведениям где-то за Винницей эшелон разбомбили и догонять его нет смысла. Мы возвращаемся домой. Туда уже дошли слухи, что эшелон разбомбили, и все (или почти все) наши солдаты — и осужденные и сбежавшие — погибли.

Примерно через месяц на батарею вернулся из госпиталя один из осужденных, сержант, и рассказал, что девушки погибли, а ефрейтора он видел мёртвым.

После войны, летом 1945 года, в коридоре штаба полка я вдруг встретил того самого ефрейтора. Правда, он уже был не ефрейтор, а старший сержант, носил танкистские эмблемы, два ордена и несколько медалей.

— Ты же погиб! — удивился я, — Фомичёв тебя видел мёртвым.

— Это я его подговорил, чтобы не искали меня.

Он попал в танковую часть, храбро воевал, был ранен и неоднократно награждён. А сейчас ждал демобилизации.

— А девушки? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он, — Скорее всего погибли.

## **8. Женщины на войне**

Я уже упоминал, что примерно треть личного состава батареи, составляли девушки. Они обслуживали ПУАЗО, дальномер, служили разведчицами, телефонистками и радистками. Никаких особых льгот по службе они не имели. Жили в таких же землянках, носили те же кирзовые сапоги и обмундирование х/б (только юбки вместо шаровар), стояли на посту, вскакивали по тревоге, работали под осколками и бомбами. И гибли. Помню, как сжало мне сердце, когда осколком ранило в бедро разведчицу из моего взвода. Я прибежал в землянку после боя. Маленькая, худенькая, совсем ребёнок, она лежала на нарах и плакала, всхлипывая и постанывая

от боли. Над ней трудилась санинструктор, перевязывая рану, а кругом стояли девушки. Они были угрюмы и печальны. Но не плакали.

Конечно, была и личная жизнь. Несмотря на активную деятельность политработников, которые чуть не каждый день читали проповеди о нравственности и грозили страшными карами за аморальное поведение (впрочем, сами они первыми камень бы не бросили), образовывались пары, мимолётные связи, а иногда завязывалась и настоящая любовь. У меня во взводе служила телефонистка Клава, очень милая, тихая девушка с Урала. У неё был возлюбленный — старший лейтенант с соседней батареи. Когда позволяла обстановка, я отпускал её на свидание, но вся эта история держалась в строгой тайне.

10 мая 1945 года, на следующий день после Победы, я встретил их обоих. Они сидели на лавочке неподалёку от нашей позиции. И таким удивительным светом сияли глаза у них обоих, что даже теперь, через много-много лет, я не могу забыть этого сияния. Не знаю, как сложилась их судьба, но верю, что они были счастливы.

Случались и менее романтические истории. Если обнаруживалась беременность, виновную немедленно увольняли и отправляли домой. Почти никогда не проводили расследования и не заводили уголовных дел (во всяком случае в период 1944—1945 гг.). Однажды ко мне обратилась разведчица по фамилии Николаева (естественно, фамилию я изменил: возможно, она жива и здорова). Это была крупная, здоровая молодая крестьянка из какого-то приволжского села. Обращения на «вы» она не понимала и всем начальникам «тыкала».

— Товарищ лейтенант, — сказала она, — Отпусти меня на НП.

— Зачем тебе на НП?

— А там, бают, мужики есть в селе, может, я затежелею, да домой-то и отпустят.

— А мать что скажет? А отец?

— Отец на войне, а матери помощь надобна. А дитёнка-то выкормим!

Давно они уже бабушки, эти бывшие зенитчицы, и если живы — здоровья им и счастья.

## **9. Как мы праздновали День Победы**

Уже в первых числах мая стало ясно, что войне конец. Объявили о взятии Берлина, о самоубийстве Гитлера, со дня на день ждали голоса Левитана, читающего важное сообщение. Во второй половине дня 8 мая прошёл слух, что Германия капитулировала, но сообщение об этом почему-то

задерживают. Часа два люди толпились у репродукторов, но у всех были дела.

Вечером 8 мая наша батарея заступала в караул. На позиции оставался только дежурный офицер (это был я) и внутренний наряд. Безлюдно, тихо и очень мирно. Около одиннадцати я лёг спать. Часа в два ночи в землянку ворвался дежурный телефонист.

— Товарищ лейтенант! Вставайте! Война кончилась! Сейчас с ДКП передали, они по радио слышали.

Я выскочил наружу. Где-то слышались выстрелы, взлетали в небо ракеты. Я вытащил пистолет и три раза выстрелил в воздух. Потом пошел в землянку БКП и мы — дежурная смена — поздравили друг друга с победой. Но жизнь продолжалась, служба шла. И только утром, когда вернулись из наряда комбат, командир огневого взвода и старшина, мы собрались в землянке командира батареи.

— Через час каждый из вас должен принести бутылку, — распорядился он. Особой трудности это не представляло: кругом во всех хатах варили самогон, и через час мы снова собрались с солидным запасом жёлтого зелья.

Самогон разлили по широким зелёным армейским кружкам, нарезали сала, луку и прочую демократическую закуску, открыли банку американской свиной тушёнки и подняли тост за Победу. Я всегда пил очень мало, но обстановка вынуждала — пили за Родину, за Сталина, за жён и невест и т. д. В общем, впервые в жизни я отключился полностью. Помню только, что встал, дошёл до двери землянки, споткнулся и упал. Очнулся я под вечер в землянке у девушек. Я лежал на топчане, заботливо укрытый шинелью. Смеющиеся девушки из моего взвода объяснили, что подобрали меня, почти бесчувственного у входа на БКП и оттащили в свою землянку. Великий день подходил к концу.

## Часть третья

### 1. Дороги, которые мы выбираем

Для меня, как и для большинства людей моего поколения, жизнь резко делится на два периода — «до войны» и «после войны» с прослойкой собственно военного времени между ними. Война всё перевернула в моей жизни. Во-первых — географически. Я оказался за тысячи километров от родных мест, в другой республике. Во-вторых — социально. Вчерашний школьник, студент-первокурсник превратился в 22-летнего лейтенанта, занимающего довольно ответственную для этого возраста должность в штабе зенитно-артиллерийского полка. В-третьих — гуманитарий до глубины души, книжник, бывший студент-филолог стал специалистом по войсковым радиостанциям, схемам радиосвязи и прочим сугубо техническим вещам. Превращение офицера-зенитчика в военного связиста произошло практически случайно. В конце войны при штабе нашей бригады были организованы курсы по подготовке радиотелеграфистов для частей корпуса. Искали офицера на должность начальника курсов. По каким-то неведомым мне причинам выбор пал на меня.

— Но я же не связист, — взмолился я, — я совершенно не разбираюсь в радиотехнике.

— Ваши функции чисто административные, — заверили меня, — а занятия будут проводить специалисты-преподаватели.

Этих специалистов оказалось двое: пожилой солдат, инженер-связист, он преподавал основы электрорадиотехники, и старшина-радист, который вёл занятия по СЭС (станционно-эксплуатационная служба), то есть учил курсантов приёму и передаче по азбуке Морзе и работе на радиостанциях. Я же должен был поддерживать дисциплину и порядок, планировать занятия, вести учёт и проводить занятия по общевойсковой подготовке. Сначала всё шло отлично. Потом заболел солдат-инженер, и мне пришлось срочно его заменить. Я лихорадочно читал учебники по электрорадиотехнике, вникал в ту или иную тему, а назавтра читал курсантам лекцию на эту тему. Естественно, я допускал грубые ошибки и старшина, иногда сидевший у меня на занятиях, часто морщился и предостерегающе качал головой. Но постепенно я освоился, накопил необходимую сумму знаний, приобрёл некоторый опыт и первый выпуск благополучно состоялся. Со вторым потоком было ещё сложнее: внезапно откомандировали старшину-радиста, и я стал вести занятия по СЭС. Надо заметить, что я постоянно упражнялся в

передаче на ключе и работал уже со скоростью 15—16 групп в минуту, т. е. на уровне 2-го класса. Потом меня перевели на курсы командиров отделений проводной связи и я уже довольно уверенно преподавал устройство телефонных аппаратов, коммутаторов и прочие связистские премудрости.

В начале 1945 года все курсы были закрыты, я вернулся на батарею и стал уже забывать свою связистскую эпопею, однако, в июне, сразу после победы обо мне вдруг вспомнили и назначили начальником связи отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (ОЗАД), дислоцировавшегося в г. Шостке Сумской области.

В дивизионе я пробыл недолго. За три с половиной месяца нас два раза переадресовывали. Сначала дивизион собирался в Германию кого-то подменять, потом нас стали готовить к переезду на Дальний Восток, но за это время закончилась война с Японией, дивизион расформировали, а меня направили в Киев, в распоряжение отдела кадров армии ПВО. Поскольку меня уже знали, как связиста, в моё дело вмешался отдел связи армии, и я был назначен помощником начальника связи по радио зенитно-артиллерийского полка, штаб которого располагался в Киеве.

На следующий день, разместившись в землянке радиомастерской на КП полка, я уже знакомился с оборудованием командного пункта, организацией радиосвязи, укомплектованностью батареи управления и тому подобными вопросами.

Восемь лет я прослужил в должности пом. начальника связи по радио, и это существенно повлияло на мою дальнейшую судьбу. Вот несколько зарисовок из этой моей деятельности. Идут учения. Боевой расчёт КП управляет боем. Телефонисты передают команды на батареи. Я сижу в помещении радиоузла и лихорадочно проверяю радиосвязь с батареями. Вот-вот прозвучит сакраментальная команда «Перейти на радио!» И тогда телефонная связь отключается, и всё управление осуществляется по радио. По времени и качеству установления и поддержания радиосвязи оценивается моя работа. Проведены все переключения, телефонисты бубнят в трубки: «Сокол-2, Сокол-2. Я — Сокол. Как меня слышите? Приём». Наконец, первые доклады: «Сокол-5, связь есть, Сокол-2, связь есть» и т. д. Кажется, на этот раз всё благополучно.

Учение окончено. Идёт разбор. Командир полка оценивает работу боевого расчёта КП, боевую деятельность батарей. В конце разбора — коротко и жёстко: «Связь работала плохо».

Начальник связи, мой шеф, щуплый лысый капитан, мучительно бледнеет. Он пытается протестовать: «Почему плохо? Всё же работало, и телефон и радио? Почему плохо?»

— Всё равно плохо, — тупо отвечает командир, — слышно было плохо.

Это непробиваемо. Как правило, командиры высшего звена пользоваться средствами связи не умеют — кричат, дуют в трубку, не нажимают тангенту (клапан, включающий микрофон). Но разве можно их в чём-то убедить? «Связь работала плохо». Редко удавалось получить иную оценку, и это было очень обидно, ибо нелегка работа связистов, напряженная и нервная. Недаром, видно, связь называли нервом армии.

Мы готовимся к показательному учению для высоких особ — начальников ПВО стран социалистического лагеря. Начальнику штаба приходит в голову мысль: на планшете, где обозначено расположение батарей, значок батареи, открывшей огонь, подсвечивается сигнальной лампочкой, — так пусть эта лампочка ещё и мигает, пока ведётся стрельба. Приказ отдан, а как его выполнить? Никаких мультивибраторов и прочих электронных схем не было и в помине. И вот я нахожу выход. Источник питания лампочек на планшете подключаю через телеграфный ключ, установленный в отдельной комнате, сажаю туда радиста и приказываю ему непрерывно работать ключом.

Батареи ведут огонь, лампочки в нужный момент мигают, все довольны.

— Как это вы устроили? — интересуется кто-то из гостей.

— Секрет фирмы, — самодовольно отвечает начальник связи.

Полк выезжает на боевые стрельбы в летний лагерь — полигон. Штаб и службы уже на месте, техника с личным составом батарей должна прибыть баржами по Днепру к утру следующего дня. От пристани до лагеря 8 км. Мне приказано установить постоянную радиосвязь с берегом, чтобы по прибытии барж дать сигнал на выезд тягачей и автомашин на пристань. Ещё днём на берегу в палатке развернули радиостанцию, проверили связь с лагерем, проинструктировали радистов, и поздно вечером я уехал в лагерь. До 2-х часов ночи я каждые 15—20 минут проверял связь. Потом лег спать, приказав радисту разбудить меня, как только поступит сигнал. Около семи часов утра меня разбудил начальник связи. Нас обоих срочно вызывали на берег. Никакого транспорта в лагере не было, и мы чуть ли не бегом преодолели восемь километров. Командир полка был грозен и мрачен, как туча. Оказывается, радисты всю ночь проверяли связь, а под утро заснули и проспали прибытие барж. Зам. командира полка, старший на баржах, увидев пустую пристань, погнал в лагерь посыльных сообщить о прибытии. Опустив головы, мы выслушали гневную речь командира и понуро побрели обратно.

Восемь лет работы в области радиосвязи были для меня годами интересными, полными молодой энергии, творческой инициативы и немало повлияли на дальнейшую мою армейскую и послеармейскую судьбу. Кстати, моя связисткая должность помешала мне уволиться в запас по окончании войны. Когда в октябре 1945 года я подал рапорт на увольнение, указав, что

я студент 2-го курса, командир полка заявил, что имеются указания не увольнять специалистов радиосвязи и радиолокации.

— А как же учёба? — растерялся я.

— А кто вам мешает учиться здесь? Поступайте на заочный, а я распоряжусь, чтобы вам предоставляли время.

(Замечу в скобках, что упомянутое время предоставлялось мне лишь первые три месяца. Потом сменился командир полка, и оставшиеся четыре с половиной года я учился тайно, используя выходные дни, ночи и отпуска.) Мне было немногим больше двадцати лет, я был очень законопослушен и возражать не стал. Хотя сейчас я точно знаю, что полковник лукавил, он просто боялся остаться без специалистов.

«Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу?» — так говорил Акула Додсон из рассказа О. Генри «Дороги, которые мы выбираем». Я тоже часто думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не этот полковник. Я внял его совету и через неделю без экзаменов был зачислен на I курс романо-германского отделения филологического факультета Киевского Государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Об университете я расскажу в отдельной главе.

## **2. Служба военная**

Я прослужил в Вооруженных силах 28 лет, от курсанта и младшего лейтенанта — командира взвода — до подполковника — зам. начальника штаба соединения. Некоторые случаи из военной практики, на мой взгляд, могут представлять интерес для читателя.

В начале 50-х годов наша часть обеспечивала проведение праздничных салютов в дни государственных праздников. В мою задачу входило обеспечивать радиосвязь между огневой позицией у Октябрьского дворца и позициями ракетчиков. С радиостанцией я сидел на крыше гостиницы «Киев», под статуей слона на площадке Первомайского парка и, наконец, под правительственной трибуной на Крещатике. Наверху, над моей головой произносил речь Н. С. Хрущев, а я прислушивался, чтобы не пропустить момент, когда он окончит речь, чтобы подать сигнал к салюту.

Очень тревожными для частей ПВО были годы 1953—1956. Холодная война достигла наивысшей точки. 30 апреля 1954 года среди бела дня в зоне действия нашей армии был обнаружен американский самолёт-нарушитель. В готовность №1 приведены все батареи полка и соседних частей ПВО. Самолёт летел на высоте 19 км, а зенитные пушки, которым мы были вооружены доставали только до 17 км. Батареи открыли беспорядочный огонь, но самолёт, пролетев над боевыми порядками, спокойно развернулся

и ушёл, как у нас говорили «в сторону моря». Такой же, но еще более нахальный облёт был повторён в 1956 году. Началось срочное перевооружение частей ПВО на зенитные ракеты. Перевооружение проходило в обстановке страшной секретности. Личный состав ракетных дивизионов был переодет в форму с эмблемами автомобильных или инженерных войск, чтобы проклятый враг не догадался. Появились специальные пропуска с разными фигурками животных: наличие определенной фигурки разрешало допуск к определённому виду матчасти. Прибывшие с переучивания офицеры щеголяли какими-то непонятными аббревиатурами: ЖГГ, СВК, СДЦ и т. п. В каждом встречном подозревали шпиона. Однажды, будучи оперативным дежурным, я получил доклад, что в районе технического дивизиона задержан человек очень подозрительный. Странная фамилия — Кио, национальность в паспорте — немец. Знаменитый иллюзионист прогуливался в лесу и привлёк внимание часового. Его, естественно, отпустили.



*Капитан Эпштейн У. И. (1951 год)*



*Сослуживцы (1953 год).*

*Слева направо, нижний ряд: п-к Слинько Г. П., ..., м-р Антощук, п/п-к Ляховецкий, м-р Росляков, п/п-к Горный;*  
*средний ряд: к-н Наумов В., м-р Иткис, м-р Беляновский, к-н Чечевин, м-р Белагин, м-р Сакун, м-р Галюк;*  
*верхний ряд: к-н Бибич, к-н Ведяшкин, к-н Ровный*

Чуть ли не ежедневно на определённый срок вводился так называемый «режим №3», по которому запрещалась работа радиолокационных станций, каждый шаг, каждая поездка иностранных дипломатов, туристов тщательно прослеживались, и к нам на КП поступала информация о том, что «военный атташе США полковник такой-то проследует в 14:00 мимо позиции дивизиона. Усилить бдительность».

В 1961 году произошло событие, явившееся как бы венцом спешно проведенного перевооружения. Это произошло 1 мая. Я был оперативным дежурным на КП и по маленькому телевизору наблюдал за парадом и демонстрацией в Москве.

Около 8 утра была объявлена готовность №1 и на планшете появилась отметка вражеского самолёта, правда очень далеко от нас, в районе Урала. Через некоторое время отметка исчезла, информация перестала поступать.

В это время на трибуне мавзолея очень мрачный Хрущёв сердито слушал какие-то доклады. Потом, выслушав очередного генерала, Никита

Сергеевич расплылся в улыбке. Еще через некоторое время с КП армии знакомый оперативный дежурный сообщил мне под большим секретом, что под Свердловском сбит американский разведчик, и лётчик захвачен в плен. Это был пресловутый полёт Пауэрса. По официальному сообщению самолёт сбили ракетчики дивизиона майора Воронова первой ракетой. Несколько офицеров наградили орденами. Пауэрса судили, потом на кого-то обменяли. Тогда мы еще не знали, какой дорогой ценой обошёлся этот «триумф». По самолёту поднимали несколько пар истребителей, стреляли несколько ракетных дивизионов, в поднявшейся панике сбили свой самолёт, погиб лётчик-истребитель. Однако, разведывательные полёты над территорией страны прекратились.



*Штаб в/ч 27309 (1961 год).*

*Слева направо: п/п-к Земляков Н. С. (нач. разведки), м-р Эпштейн У. И. (ст. пом. нач. опер. отделения), м-р Марченко В. К. (пом. НШ по моб. работе), к-н Ковалёв А. Н. (пом. нач. опер. отделения), к-н Маринеха П. А (пом. нач. опер. отделения)*

Нельзя сказать, что служба проходила однообразно. Регулярные выезды на боевые стрельбы — полигоны: Ашулук, Капустин Яр, Сары-Шаган на Балхаше, инспекционные поездки по Украине: Харьков, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Севастополь, Полтава, Мариуполь и другие города и веси.

В одной из таких поездок нам надо было лететь в Днепропетровск. На аэродроме нам сказали, что полетим на десантном самолёте АН-10, поэтому требуется надеть парашюты. Наскоро проинструктировали, помогли надеть парашютные мешки, прицепили вытяжные фалы к натянутому канату и полетели. Поскольку парашютистов среди нас не было, обстановка была несколько напряжённой. Прилетев на место, мы узнали, что самолёт наш совершал последний рейс перед капитальным ремонтом, поэтому-то и были предприняты такие меры предосторожности.



*После вручения кубков за первенство в ракетных стрельбах  
(Печерск, в/ч 27309, 1960 год).*

*Слева направо сидят: м-р Нечаев Р. Л. (командир 1-го д-на), п-к Гусаров П. С. (НШ бригады), м-р Антипов А. С. (нач. политотдела), м-р Калинин В. М. (командир 3-го д-на), п-к Маломуж В. Г. (комбриг), м-р Марикуца (командир 6-го д-на), ..., п-к Малимон Д. Д. (нач. оперотдела), м-р Ровный З. Б. (инженер), м-р Васин В. М. (зам. командира д-на)*

Однажды, во время боевых стрельб на полигоне, выпущенная ракета вышла из управления, развернулась и помчалась прямо на позицию. Из двери кабины, где мы находились, было забавно наблюдать, как солидные генералы и полковники, подобрав полы шинелей, резвой рысью бежали в сторону от позиции. Перелетев через позицию и палаточный городок, ракета самоликвидировалась над полем.

Частенько нас посещало высокое начальство из Москвы. Готовились к приезду Командующего войсками ПВО Страны Маршала Советского Союза Бирюзова. Один из наиболее грамотных, интеллигентных и выдержанных военачальников, он пользовался высоким авторитетом в войсках. Меня назначили оперативным дежурным на КП. Когда маршал появился в сопровождении командующего армией генерал-полковника Покрышкина и нашего командира бригады, я отдал рапорт и доложил обстановку. Маршал потребовал, чтобы командир бригады доложил боевые возможности бригады по направлениям. Командир бригады полковник Маломуж в такие вопросы вникать не любил и несколько растерялся. Начальник штаба поспешно предложил, чтобы доложил оперативный дежурный. Но маршал настаивал и в конце концов получил путаный и неуверенный доклад комбрига.

— На своём КП, товарищ полковник, я знаю всё, — недовольно сказал высокий гость.

Мы ожидали разноса от посрамлённого командира, но полковник вдруг широко улыбнулся и сказал:

— Ну, как он меня! Поделом рыжему бездельнику!

Позже маршал Бирюзов погиб: его самолёт в тумане натолкнулся на гору Авала в Югославии.

За время службы я сменил многих командиров, некоторые из них многому меня научили, оказали немалое влияние на мою судьбу. Я с благодарностью вспоминаю чудаковатого полковника Дятлова с обострённым чувством справедливости, резкого и требовательного полковника Слинько, внимательного и заботливого полковника Петра Семёновича Гусарова, подтянутого, стремительного полковника (позже генерал-лейтенанта) Халипова — все они, к сожалению, уже ушли в мир иной, оставив по себе добрую славу.

В августе 1970 года я был уволен в запас, моя 28-летняя воинская служба закончилась.

### **3. Университет**

Студентом-заочником университета я стал в 1946 году. Система заочного обучения в то время была предельно проста. В бухгалтерию вносилась оплата за учёбу — 100 руб. за семестр. В деканате вручали учебный план на семестр, где указывалось, какие экзамены и зачёты надлежало сдать. Затем надо было найти преподавателя и договориться с ним, когда и где можно сдать экзамен. В бухгалтерию вносилась оплата за экзамен (10 руб.) и с квитанцией на руках вы следовали в указанное место к указанному времени.

Никаких лекций, консультаций или сборов, как правило, не было, надо было достать учебники или конспекты по данному предмету, выучить материал и идти сдавать.

Сдавали, где придётся: на квартире преподавателя, в аудиториях гуманитарного корпуса, на подоконниках, в коридорах...

Экзамен по латинскому языку. Я сижу напротив профессора Шиманского и выкарабкиваюсь из латинских склонений и спряжений: «Лаудо, лаудас, лаудат, лаудамус, лаудатис, лаудант...» Потом торжественно читаю наизусть Горация : «Эксеги монумент, эре перениус...» Профессор в восторге. Он жмёт мне руку и поздравляет с высокой оценкой. В зачётной книжке появляется «четвёрка». Ходят слухи, что пятёрок он вообще никогда не ставит.

Историю английского языка я сдаю профессору Шаровольскому — специалисту по романскому языковедению с мировым именем. Профессор очень стар и очень болен. Комната его сплошь заставлена полками с книгами. Я застаю профессора за столом — он читает «Краткий курс истории ВКП(б)». На мой недоумённый взгляд он вздыхает и горестно разводит руками: «Что делать, батенька, завтра семинар».

Потом мы вместе читаем какой-то древнеанглийский текст про короля Альфреда. Я встаю, собираюсь уходить. Старик смотрит на меня с тоской: «Может, зайдёте когда-нибудь, молодой человек, мне тут так одиноко...»

Уже на первом курсе необходимо было сдать зачёт по украинскому языку. Зачёт принимал доцент Билодид. В последующие годы он сделал блестящую карьеру, стал академиком АН УССР, несколько лет занимал пост министра просвещения Украины, был главным редактором украинско-русского и русско-украинского словарей.

Для меня, выросшего в России, это был, пожалуй, самый трудный зачёт. Билодид предложил мне диктант на страничку. 17 ошибок! «Придётся еще раз, молодой человек». Второй диктант — 8 ошибок. Вывод тот же. Через две недели решающая попытка — третий диктант. Четыре ошибки. Билодид вздыхает:

— Ну, ладно. Поставлю вам зачёт. Я ведь и сам недавно из армии. Майор запаса. Пока воевал, позабыл родной язык. Но помните, на втором курсе вам экзамен сдавать. Это посложнее.

К слову, на втором курсе я с первого раза благополучно сдал украинский язык и украинскую литературу.

Экзамен по зарубежной литературе. У меня в билете вопрос: «Поэзия Роберта Бёрнса». Тут я король. Я вдохновенно рассказываю о гениальном шотландце, читаю его стихи, эпиграммы. У преподавательницы загораются

глаза. Оказывается, Бёрнс — её любимый поэт. И вот уже мы, перебивая друг друга читаем по-русски и по-английски:

— «Где-то девушка жила, что за девушка была...»

— «В деревне парень был рождён...»

— «При всём при том, при всём при том...»

В зачётке — очередная пятёрка.

На каждом курсе требовалось сдать так называемое «внеклассное чтение» по английскому языку. Сначала это были десятки страниц, и я использовал книги Дж. К. Джерома, О. Генри, Дж. Лондона. Потом требовали тысячи страниц. На это у меня времени не было, и я нашёл беспроегрышный ход. Купил толстенный однотомник В. И. Ленина на английском языке. Все тексты были знакомы, перевести любое место не представляло сложности, а преподаватели не отваживались забраковать такой материал.

Шло время, менялись предметы, преподаватели, взгляды. На четвёртом курсе доцент Плющ читал спецкурс «Учение Н. Я. Марра. Четырёхэлементный анализ». Но тут вышла книга И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», и тот же доцент стал читать новый спецкурс «Сталинское учение о языке», где всеми силами предавал анафеме Н. Я. Марра.

Подошла пора писать дипломную работу. Рекомендовалось несколько тем, в том числе совершенно надёжная — «Образ И. В. Сталина в зарубежной литературе». Учитывая недостаток времени, соблазн был велик, но я устоял и выбрал «Исторические романы Говарда Фаста». В то время Фаст был в фаворе, его много печатали, хвалили в советской прессе, он был членом компартии США. Мне нравились его романы «Последняя граница» и «Дорога свободы».

Не мог я, конечно, тогда предположить, что через пять лет Фаст демонстративно выйдет из компартии США, будет облит с ног до головы грязью в советской прессе и надолго исчезнет с советского литературного горизонта. А пока я старательно собирал материалы о нём, выписывал через Ленинскую библиотеку непереведённые его романы и повести, делал выписки, заметки. Писал вечерами, ночами, специально напрашиваясь на оперативное дежурство, и там на КП, ночью — все равно спать нельзя — в тишине писал главу за главой. Чтобы работа была надёжным образом оценена, требовалось по сильнее ругать буржуазных декадентов, антикоммунистов и антисоветчиков. Во всех наших статьях то и дело появлялись ругательные эпитеты к именам Андре Жида, Ж. П. Сартра, Т. С. Элиота, Генриха Бёлля, Джорджа Оруэлла и многих других. Я почти ничего не читал из произведений этих писателей, но добросовестно цитировал ругательные статьи. Опять-таки из песни слова не выкинешь. Но поскольку тема моя

касались романов исторических, легче было обходиться без обычного набора шаблонов.

И вот сданы государственные экзамены, успешно защищена дипломная работа, и я оказался обладателем синего «диплома с отличием», где была обозначена специальность «филолог» и ниже «английский язык и литература». К сожалению, я так и не смог профессионально использовать этот диплом в дальнейшей моей жизни.

#### **4. О политике и жизни**

С самых ранних лет жизнь наша была до предела «заполитизирована». Политическая пропаганда велась грубо, беспардонно и очень настойчиво, любые методы годились для агитации, этика и мораль презрительно отбрасывались.

И как это ни удивительно, именно такая бесстыдная, бессовестная пропаганда оказывалась в конечном счёте наиболее эффективной. В противовес вкрадчивой, осторожной, тихой, например, церковной пропаганде, идеи и взгляды большевиков вбивались, как гвозди, сильными и точными ударами, вбивались на века. Успеху такой пропаганды способствовало, без сомнения, полное отсутствие информации со стороны. Газеты, радио, школа, общественные организации, литература, театры и кино, — всё было на службе этой всеобъемлющей пропагандистской машины. Сравнивать было не с чем, выбирать — не из чего. Машина работала с высочайшим КПД. Сейчас говорят и пишут, что в обществе тех лет царило двоедушие: думали одно, говорили и делали другое. Это не совсем правда, а может быть и совсем неправда. Когда на демонстрациях и съездах люди вставали и устраивали овации вождям, действовало не только чувство стадности и страха. Многотысячные (добровольные!) очереди выстаивались у мавзолея Ленина, с воодушевлением люди читали стихи и пели песни:

*«Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек!»*

*«У советских собственная гордость —  
На буржуев смотрим свысока!»*

и т. д.

Ведь официальной пропаганде верили безоглядно. А чему ещё было верить? Это было не двоедушие, а скорее помрачение разума, как при воздействии наркотиков.

(Кстати о двоедушии. Когда сейчас я вижу, как бывшие члены Политбюро и секретари ЦК КПСС стоят в церкви и осеняют себя крестным знаменем, я понимаю, что такое настоящее двоедушие).

Уже в первом классе мы становились октябрятами. Нам читали и рассказывали о маленьких героях: о Павлике Морозове, о юном барабанщике из пионерской песни, о Гавроше и Мальчише-Кибальчише. Эти герои были для нас образцами, людьми, «делать жизнь с кого», и никто не задумывался над тем, ради чего все эти ребята погибают, «смертию смерть поправ». Готовность к самопожертвованию была одним из важных направлений воспитательной работы. Никто не задумывался также, какой ценой оплачены эти детские жизни, чего они добились своей смертью. Много позже, в первые годы войны был создан миф о Зое Космодемьянской — девушке, почти девочке, повешенной немцами за партизанские действия. Но как-то на второй план отходила её конкретная вина — она подожгла сарай. Какой сарай? Зачем? Кто послал её на такое дело? Кому была польза от этого поджога? Это героизм наизусть — когда атакуют несколько раз высотку, теряют сотни людей, а высотка никому не нужна, её можно было обойти.

Мы читали и смотрели фильмы о тяжёлой жизни ребят в капиталистических странах и были счастливы, что родились в СССР, мы гордились этим, считали, что нам все завидуют, мы с искренним пафосом декламировали:

*«Читайте, завидуйте,  
Я — гражданин Советского Союза!»*

В третьем классе нас принимали в пионеры, и мы с новенькими красными галстуками на шее торжественно и гордо хором повторяли за вожатой: «Я — юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...»

К середине тридцатых годов пионерская работа уже была полностью забюрократизирована, давно кончились пионерские костры с картошкой, марши под барабанный бой и прочие аксессуары, унаследованные в нашей стране в 20-е годы от бойскаутизма. С нами проводили унылые сборы, выбирали на них всякие «советы дружин», брали никому не нужные «социалистические обязательства», бормотали о необходимости хорошо учиться и хорошо себя вести.

Однако летом работа несколько оживлялась. Летом были пионерские лагеря. Если отбросить политическую мишуру и некоторые солдафонские приёмы, в лагерях было много интересного. Находились энтузиасты, хорошие педагоги, которые изобретали «мероприятия», разнообразившие

унылую пионерскую жизнь. Мне очень запомнился драмкружок в пионерском лагере под Городцом на Волге. Руководил кружком актёр Горьковского театра драмы Владимир Дунаев. Он ставил пьесу по сказке Андерсена «Новое платье короля». Мне там досталась крошечная роль герольда, который дважды появляется с трубой (я был горнистом) и объявляет выход короля. Режиссёр долго рассказывал мне, как сделать эту роль забавной. Он заставил меня спотыкаться, заикаться, сморкаться и т. д. Я оказался способным учеником, и мой герольд действительно получился очень смешным. Кроме лагерей, одно время модными были так называемые «форпосты». В определённом месте — в садике, на бульваре, в роще — собирались с утра ребята, не поехавшие в лагерь, и под руководством вожатого играли в волейбол, футбол, ходили на экскурсии, пели. Сейчас это называют «тусовками», но тогда, на мой взгляд, общение детей и подростков не имело того налёта цинизма и нигилизма, который они (тусовки) имеют сейчас.

Добром вспоминаются и агитбригады, которые ездили по сёлам и давали концерты. Обычно ничего агитационного в этих бригадах не было. Просто собиралась группа мальчиков и девочек, ехали в деревню, и там в клубе пели соло и хором, читали стихи, играли в струнных оркестрах, танцевали. Как правило, встречали нас очень доброжелательно, я не помню случая, когда зрители проявили бы оскорбительное равнодушие. Правда, в те времена в деревнях не было ни телевидения, ни радио, кино привозили редко.

Комсомол не оставил в моей жизни заметного следа, вероятно потому, что пребывание моё в комсомоле пришлось, в основном, на военные года. А на войне хватало забот и без комсомола.

В 1945 году я стал кандидатом партии. Переход мой из комсомола в партию совершился как-то очень буднично и органично. Подошёл парторг бригады, поинтересовался, почему я не подаю заявления в партию, вызвался дать рекомендацию, и через недельку меня уже принимали на партсобрании. А в январе 1947 года, я так же незаметно стал членом ВКП(б).

В то время, да и позже, членство в партии для офицера было так же естественно, как погоны на плечах. Беспартийных офицеров (исключая молодых комсомольцев) в части не было. Как относились мы, среднестатистические офицеры, к политике, к партии? После смерти Сталина, после доклада Хрущёва на XX съезде КПСС искренность, с которой большинство советских людей относилось к политике и партии, резко пошла на убыль. Всё сильнее стало проявляться упомянутое уже «двоедушие». В армии (да и не только в армии) люди фактически жили двумя жизнями. Одна — обычная, человеческая, где можно было ругать

даже самое высокое начальство, тайком почитывать запретные книжки, тайком же слушать сквозь вой и шум помех «вражеские» радиостанции. Другая — официальная, где произносились заученные слова, стандартные фразы, писались сощобязательства, конспектировались «первоисточники».

Политику партии в армии проводили политработники. Всегда и во всех частях офицеры остро не любили политработников за военную неграмотность, за болтовню и за демонстративное безделье. Однако, вслух этого почти никто не выражал, безропотно снимали людей с самых важных работ и отправляли на политзанятия и политинформации, на которых воспитывали «ненависть к американскому империализму и любовь к пролетарскому интернационализму». Выпускали боевые листки, которых никто никогда не читал, но без которых оценки в соцсоревновании не получить. Такой же формализм разъедал и партийную работу. Комиссии политотдела оценивали работу первичных парторганизаций по количеству проведенных собраний, по наличию в решениях (никогда не выполнявшихся) всяких «в свете решений такого-то съезда, пленума, положений, изложенных в докладе такого-то вождя» и так далее. Партийный руководитель низшего звена всегда мог, владея пером, содержать бумажки в порядке — и партийная работа процветала.

Еще немного о политработниках в армии. Среди них были очень талантливые воспитатели, лекторы, организаторы, но в массе своей они всегда были тормозящим фактором, ибо само выделение идеологической работы из общей системы обучения и воспитания ставило их в особое, раздражающее положение.

Я вспоминаю одну картинку из не очень давнего прошлого. Зенитно-ракетный полигон в Заволжье. Дивизион выполняет боевые стрельбы. Все заняты. Взмывленные офицеры бегают из кабины в кабину, проверяют готовность техники, солдаты просматривают схемы, чистят разъемы. В стороне от позиции развёрнут «походный алтарь» — так именуется переносная «Ленинская комната»: высокий фанерный стенд на ножках с крыльями в обе стороны. На стенде — лозунги, призывы типа «Выполним боевые стрельбы на отлично!», «Наш подарок съезду — отличная стрельба!», вырезки из фотоальбомов, незаполненные бланки «Они получили отличные оценки» и т. п. Около «алтаря» стоит сияющий замполит дивизиона (т. е. заместитель командира дивизиона по политической части). Всем пробегающим мимо он радостно сообщает: «Всё готово. Политработа развёрнута».

Чудовищная техническая неграмотность политработников породила массу анекдотов — о замполите, предлагавшем завести СПО (станцию питания орудий), прицепив этот стационарный двигатель к своему газику, о

клиренсе, который пытался получить на складе другой «комиссар» (клиренс — это расстояние от земли до нижней части платформы орудия или установки).



*Партконференция в/ч 27309. Секретариат (1966 год).  
Слева направо: ..., Ковбаса, Эпштейн, Сухачев*

Я состоял в ВКП(б) — КПСС более 45 лет. Был секретарём первичных организаций, делегатом партконференций. Получал благодарности и партийные взыскания. Моё отношение к партии можно разделить на три периода:

- период безоговорочного доверия (до конца пятидесятих);
- период сомнений и размышлений (шестидесятые — семидесятые);
- период инерции (восемидесятые).

После смерти Сталина и развенчания культа личности был значительный этап, который можно сформулировать так: «Плохой Сталин испортил хорошую партию, а теперь будет всё, как Ленин завещал!» Затем была «хрущёвская оттепель», её бесславный конец, длительный идиотизм брежневских времён, тяжёлые сомнения в главном — в цели, в принципах и методах, в святости идола — Ленина. Потом Афганистан, Андропов, Черненко, потуги Горбачёва, Тбилиси, Вильнюс, и полное разочарование,

которое привело к моему выходу из партии 1 марта 1991 года, за полгода до злосчастного путча и за 10 месяцев до развала СССР и краха КПСС.



*Делегация партконференции в/ч 27309 (Киев, август 1961 года).*

*Слева направо стоят: Кравец Л. Г., Новиков, Захарченко, Лавров, Маринеха П. А.,  
Конторицков А. С., Савченко И. А., ..., Юдицкий, Эпштейн У. И., Ковбаса,  
Лазько А. Г., Ковалёв А. Н., Дрига Г. Д.;*  
*сидят: три представителя армии, п-к Малимон Д. Д. (нач опер. отдела),  
п-к Халипов П. Ф. (комбриг), п-к Гусаров П. С. (нач. штаба), м-р Чириков А. Г.  
(зам. нач. политотдела)*

## **5. Национальный вопрос**

Я вырос в советской еврейской семье. Подчёркиваю — в «советской», поскольку по образу жизни, по языку и прочим реалиям наша семья ничем не отличалась от всех прочих обывательских семей русского города. Говорили дома на хорошем русском языке без традиционной картавости и южной распевности. Еврейский язык (идиш) употреблялся лишь изредка в разговорах отца с матерью, а когда отец умер, идиш вообще перестал звучать в нашем доме.



*Отец (прибл. 1905 год), мать (1922 год)*

Принадлежность к «избранному» народу определялась несколькими толстыми книгами на древнееврейском языке и запрятанными глубоко в комод молитвенными принадлежностями отца — талесом — широким полотняным покрывалом — и тфилн (коробочка с ремешками, которые надевались на левую руку и на голову). Правда, в начале тридцатых годов на косяках наших дверей висели «мезузы» — узенькие металлические футлярчики с еврейской буквой «шин» на крышке. Когда мы с братом стали пионерами, мы содрали эти мезузы с косяков, вскрыли их и нашли там маленькие бумажки с древнееврейским текстом.

Семья наша не была религиозной, еврейские праздники, посты, всяческие ритуальные запреты, как правило, не соблюдались, но кое в чём мать была непреклонна. Например, в доме не водилась свинина.

Однажды меня пригласили на день рождения приятеля. Его бабушка поставила на стол блюдо великолепно пахнувшего мяса. Мы налегли и очистили блюдо. Когда мать приятеля спросила, не хотим ли мы чего-нибудь ещё, бабушка проворчала:

— Ну да, они вдвоём чуть не половину поросёнка умяли!

Поросёнок мне понравился.

Евреев в городе было немного — полтора-два десятка семей, перебравшихся в годы революции и Гражданской войны из Белоруссии, Украины и Польши, подальше от погромов и нищеты. В основном это были интеллигенты-служащие, зубные врачи, фармацевты и торговые работники.

Еврейские семьи жили в тесном контакте, часто ходили друг другу в гости, помогали нуждающимся. Центром этого общества, и не только еврейского, так сказать, салоном — был дом моего дяди, зубного врача. Он приехал в город года за два до революции, купил аптеку и дом (тот, в котором в 1902 году жил Горький), перевёз жену и троих детей. После революции аптеку, разумеется, отобрали, но дом остался. Дядя был человеком разнообразных талантов: зубной врач и протезист, отличный бухгалтер, владевший всеми тонкостями этой профессии и один из первых в стране радиолюбителей-конструкторов. Утром он уезжал на железнодорожную станцию, где работал главным бухгалтером. За ним специально присылали лошадь, запряжённую в двуколку. Часа в четыре он возвращался и начинал приём больных. А вечером в крошечной мастерской точил коронки и зубы, паял и монтировал различные радиоустройства. У него работал чуть ли не единственный в городе многодиапазонный радиоприёмник, а когда инженер Термен изобрёл свой знаменитый «Терменвокс», дядя немедленно изготовил этот удивительный музыкальный инструмент — дальний предок современных электроорганов — и играл на нём под аккомпанемент рояля, за которым сидел его старший сын. В большой, обставленной старинной мебелью гостиной этого дома собирался весь цвет города. Приходили актёры местного театра и заезжие гастролёры, литераторы, журналисты уездного масштаба и другая интеллигентная публика. Накрывали громадный стол, появлялся чай, разнообразное печенье собственного приготовления, варенье, и текла дружеская беседа. Актёры читали, певцы пели, музыканты играли. Ничего спиртного никогда не подавалось.

Немного об актёрах и о местном театре. Несмотря на уездную глушь нашего города, театр там функционировал постоянно. Иногда собирали труппу на один-два сезона, в других случаях на лето приезжали труппы из Муром, Павлова, Горького. В репертуаре были обычные в то время для провинциальных театров пьесы: «Ученик дьявола» Б. Шоу, «Привидения» Г. Ибсена, «Мачеха» О. Бальзака, комедии Лопе де Вега, Кальдерона, «Егор Булычев» М. Горького «Дни нашей жизни» Л. Андреева, «Любовь Яровая» К. Тренёва, «Чудесный сплав» В. Киршона.

Менялись актёры, менялись режиссёры. Одно время главным режиссёром городского театра был Владимир Захарович Масс, известный драматург, которому после лагеря жить в больших городах запрещалось. В труппе играли ещё два будущих драматурга — Зак и Кузнецов, авторы популярной в своё время пьесы «Сады цветут». И в любом составе прямой была заслуженная артистка Елена Николаевна Судьина. Она постоянно жила в городе — высокая, по-своему красивая, с глубоким «пашенным»

голосом. Она играла Вассу Железнову, Любовь Яровую и Кручинину в «Без вины виноватые» и всех благородных матерей.

Художественный уровень постановок, на мой взгляд, был достаточно высок, и люди охотно посещали свой театр. После войны театр на долгие годы возглавил режиссёр Скалов, который утверждал, что вырос вместе с Л. Утёсовым, и они вместе придумывали себе театральные псевдонимы — Утёсов и Скалов. В пятидесятые годы театры перевели на хозрасчёт и наш театр захирел. Актёры в течение всего сезона не получали зарплаты и жили в долг или на небольшие подачки из кассы. В конце сезона они всей компанией подавали в суд, счёт театра арестовывали, актёрам выдавали зарплату за 4—5 месяцев, и начиналась гульба. Единственный в городе ресторан несколько дней работал только на театральную публику. Потом деньги кончались, и актёры разъезжались «в Керчь или в Вологду» искать счастья.

На декорации и костюмы не хватало денег, полушубки, телогрейки, сапоги, шляпы, лампы и т. п. собирали по квартирам работников театра (моя мать в то время работала билетным кассиром), и зрители зачастую радостно вскрикивали, узнав свои сапоги на царе Фёдоре Иоанновиче или свою телогрейку на героя «Свадьбы с приданным».

Однако вернёмся к национальному вопросу. До войны государственный антисемитизм в городе не проявлялся. Евреи и русские относились друг к другу со взаимным уважением, права евреев никак не ущемлялись. Правда, в быту, на улице, в компании мальчишек можно было иногда услышать издевательское «жидоны» или «Абраша» с подчёркнутым картавым «р». Году в 1935 весь город взволновал судебный процесс над двумя парикмахерами — братьями, которые обвинялись в травле и издевательствах над еврейкой-маникюрщицей. Процесс был открытый, в зале собралось всё еврейское общество. Парикмахеров-антисемитов осудили, что вызвало одобрение не только еврейской части населения.

Еврейские мальчики и девочки, выпускники арзамасских школ, без препятствий поступали в вузы Москвы, Ленинграда, Горького, учились в МГУ, ИФЛИ, Консерватории и других престижных учебных заведениях.

Положение резко изменилось в послевоенное время. Впервые я столкнулся с государственным антисемитизмом в 1948 году. Я был студентом-заочником Киевского университета, когда узнал, что Московский военный институт иностранных языков объявляет приём офицеров на I курс. Я немедленно подал свои документы, отлично сдал предварительные экзамены при штабе Киевского Военного округа, получил отпуск для подготовки к вступительным экзаменам и уехал в Арзамас готовиться. Через неделю я получил телеграмму о том, что мои документы из Москвы

возвращены, мне предлагалось прибыть к месту службы. В Москве у меня была пересадка. Я пошёл в институт, где мне удивлённо сообщили, что документов моих не получали. Я отправился в Министерство Обороны. Из бюро пропусков позвонил начальнику отдела военных учебных заведений. Полковник мягко объяснил мне, что из института вернули документы ввиду отсутствия у них вакантных мест. Я возразил, что в институте моих документов не получали. Полковника как подменили. Раздражённо он прокричал, что не моё дело соваться в институт, раз документы вернули, значит так и надо, и бросил трубку. Кстати, двух моих товарищей, подавших документы вместе со мной, но имевших «чистую» пятую графу, в институт приняли, правда, на китайский факультет.

Особенно тяжёлая обстановка сложилась в связи с «делом врачей» в конце 1952 года.

Угрюмые взгляды в трамваях и троллейбусах, выкрики в очередях... На офицерском собрании выступает генерал — военный прокурор округа. Он подробно рассказывает, какими подлыми методами «убийцы в белых халатах», всякие там Вовси и Раппопорты, уничтожают простых советских людей и под конец добавляет:

— Но это не значит, что надо преследовать всех евреев. Среди них тоже попадаются порядочные люди.

Евреям полностью перекрыли доступ к службе за границей, на строго режимных объектах, в штабах соединений и объединений. По недосмотру какого-то кадровика майор-еврей из нашей части был направлен в Германию на замену. Все документы были оформлены, утверждены, и майор отправился за границу. Но в Бресте его вежливо высадили из поезда, сообщили, что произошла ошибка, и предложили вернуться к прежнему месту службы.

В те времена многих офицеров направляли советниками, консультантами, инструкторами в Румынию, Болгарию, Албанию, Индию, Индонезию и другие страны соц. лагеря и «третьего» мира. Тщательно подбирали кандидатов. Но никакие самые высокие знания и навыки не могли повлиять на железный закон — евреям выезд закрыт. Евреев-специалистов широко использовали для подготовки и обучения будущих инструкторов, но сами они могли рассчитывать только на территорию Союза (и то не всю).

В 1962 году во время «кубинского кризиса» на Кубу перебрасывались в полном составе полки и бригады ЗРВ. Перед отправкой дивизии ПВО, дислоцировавшейся в Днепропетровске, из неё вывели всех солдат и офицеров — евреев и распределили их по другим частям. Майор — инструктор политотдела бригады, присланный в нашу часть, никак не мог

понять, почему из всего политотдела не берут только его. Он ходил по начальству, жаловался, недоумевал, ему уклончиво отвечали, пока в политотделе армии главный политический генерал не гаркнул:

— Не суйтесь не в своё дело, майор! Раз партия говорит так надо, значит надо. Идите и служите дальше.

Однажды во время учений мне довелось возвращаться в часть в машине командующего объединением, очень уважаемого генерала, героя Отечественной войны. Он сидел на переднем сидении и вёл разговор с полковником — командиром соединения о каких-то кадровых перестановках. Полковник сказал:

— А на оперативное отделение мы планируем поставить майора такого-то (еврейская фамилия).

Командующий помолчал, глядя в окно машины, потом тихо и недовольно произнёс:

— Что у вас своих что ли не хватает?

Я считался знатоком теории стрельбы зенитными ракетами, трижды становился чемпионом армии по ракетно-стрелковым конкурсам, меня ценили и часто приглашали для участия в инспекторских и других проверках штаба армии. Однажды я спросил начальника отдела боевой подготовки, почему бы им не перевести меня в штат отдела, если я нужен. Полковник отвёл глаза, смутился и забормотал что-то про то, что меня не отпускает мой командир, про другие какие-то причины...

Несомненно, что дискриминационная политика по отношению к евреям в армии проводилась в соответствии с негласными (а может быть, и документированными) указаниями партийного и военного начальства. Но должен отметить, что почти за тридцать лет службы в армии я лично никогда не встречался с проявлением антисемитизма со стороны моих коллег-офицеров, моих командиров и моих подчинённых.

## **6. Итак...**

Я прожил 70 лет. Много это или мало? Для человека немало, для истории совсем немного. Но оглядываясь на прожитую жизнь, я не перестаю удивляться, насколько изменилась жизнь за этот небольшой отрезок времени.

Не так давно я читал внукам детские стихи Корнея Чуковского — «Мойдодыр», «Федорино горе», «Муха-Цокотуха». Огромное количество бытовых реалий в этих стихах им было незнакомо. Они никогда не видели умывальников с мраморной доской и зеркалом, керосиновых ламп, для них

даже самовар и калоши — экзотика, не говоря уже о кочерге, ухвате и синем ящике на колесах, в котором продавали мороженое в круглых вафлях.

Я вспоминаю нашу квартиру, улицу, город в начале тридцатых годов. Там многого не было. Не было электричества, радио, телевидения, центрального отопления, газа, водопровода, ванной и туалета, в городе не было асфальтированных улиц и тротуаров, автомобилей и многого другого. А были керосиновые лампы, примусы и керогазы, русские печки и голландки, умывальники «Мойдодыры» и рукомойники, с металлическими сосками, чернильницы-непроливайки, перья типа «Редис» и «86», пресс-папье, часы-ходики, самовары и другие вещи, о которых сейчас можно прочитать лишь в книжках.

Основным транспортным средством были лошади — извозчики, ломовики с телегами и санями, одним словом «гужевой транспорт». В 1930 году в городе было два автомобиля: легковой «Форд» с парусиновым верхом, на котором ездил секретарь райкома партии, и грузовик «АМО», принадлежавший винзаводу. На этом грузовике 1 мая катали детей по улицам города, и я до сих пор помню ощущение счастья, когда машина (сама!) катила по улице с бешеной (около 20 км/час) скоростью, и ветер свистел в ушах.

Когда над городом появлялся самолёт, дети приходили в восторг и пели песенку:

*«Ероплан, ероплан,  
Посади меня в карман...»*

А в День Авиации на лугу за городом проводились показательные полёты маленьких бипланов У-2 и планеров. Очень интересно запускались планеры Осоавиахима. На лугу устанавливалась странная машина, напоминавшая огромную детскую рогатку. На металлические рельсы-направляющие ставили планер с пилотом-планеристом в кабине, на планер надевался толстый резиновый жгут, наподобие того, как камень вкладывают в рогатку. Специальной лебёдкой откатывали планер, натягивая резину. Потом по команде отпускался стопорный рычаг, и планер, стремительно скользя по направляющим, выстреливался в воздух и плавно пролетал над лугом на небольшой высоте. Никогда и нигде больше я не читал и не слышал о подобном методе запуска планеров.

Хорошо помню, как у нас появилось радио. Отец принёс пару наушников и включил их в розетку, которую поставили несколько дней назад монтажники. В наушниках играла музыка, говорили люди. Это было поразительно. Мы часами сидели, вырывая друг у друга наушники, и слушали всё подряд —

новости, песни, беседы и сказки. Позже появились знаменитые «чёрные тарелки», просуществовавшие до конца войны. В городе на базарной площади открылся радиоузел. Он состоял из трёх небольших комнат: студии, затянутой розовым материалом, аппаратной и редакции. Два раза в день диктор становился перед высоким микрофоном, вмонтированным в металлическое кольцо, и торжественно объявлял: «Говорит Арзамас! Местное время...» Надо отдать должное первым работникам городского радиокомитета. Они организовывали небольшие самодеятельные концерты, беседы, регулярно информировали население о событиях в городе и районе. Роль, которую играло радио в жизни нашего поколения, трудно переоценить. Литературные передачи, симфонические концерты, монтажи опер и оперетт, трансляции спектаклей, детские передачи, в которых принимали участие лучшие столичные актёры — всё это закладывало основы нашего образования и эстетического воспитания.

Ну, и конечно кино! Кумир XX века. В те дальние времена фильмы выпускались редко, каждый новый фильм ждали, обсуждали, цитировали его героев, пели песни из кинофильмов. До середины тридцатых годов «Великий Немой» оправдывал своё название. Потом появилась «Путёвка в жизнь» со звуком, записанным по системе инженера Шорина — слова порой были неразборчивы, звук хриплый, но восхитительный!

Помню, как весь город стремился попасть в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Дарико», где то ли создатели фильма, то ли хитроумные киномеханики закрасили красной краской знамя на части кадров киноленты, и когда на экране появлялся пылающий красный флаг, зал взрывался аплодисментами. Потом вышел на экраны фильм «Соловей-соловушка» (Груня Корнакова), где пылал настоящий цветной пожар.

Изменились и люди, их отношение друг к другу. Этому способствовали изменения условий жизни, окружающей обстановки, политической ситуации и прочих, как говорят, факторов.

Резко сократилось общение, живое человеческое общение друг с другом. Почти исчезли коммунальные квартиры, в большинстве городов пропало и такое объединявшее людей понятие, как «наш двор». Перестали ходить в гости — не на именины и праздники, а просто так — поговорить, выпить чаю. Главным средством общения стал телефон, но и телефонные разговоры все чаще американизируются, приобретают сухой деловой лаконизм. Семьи замыкаются в стенах своих отдельных квартир и порой даже не знают соседей по площадке. Перестали ходить в кино, театры, на стадионы, даже митинги стали малолюдными. Исчезли (и слава Богу) и очереди — классическое место, где обменивались новостями, ругали правительство и начальство, ссорились и спорили...



*Встреча ветеранов в/ч 27309 в Василькове (25 апреля 1998 года)*

Индивидуализация привела к заметному очерствлению, потере доверчивости и открытости, по сути дела, ко всеобщему эгоизму. Это не значит, конечно, что люди стали хуже — они просто стали другими.

Наверно, всё, что я тут написал — старческое брюзжание, пресловутое «вот в наше время». Но из себя не выпрыгнешь...

Семьдесят лет. Много это или мало? Для меня — мало: жизнь, какая бы она ни была, не потеряла своей привлекательности. А вообще — много, предельный возраст среднего человека.

Дорога подходит к концу туннеля, из которого не видно света...

*Киев, 1994—1995 гг.*

## Послесловие 2001 года

Годы идут, начался новый век, новое тысячелетие. Оглядываясь на прожитую жизнь, я задаю себе разные вопросы. Жалею ли я о чем-нибудь? Было ли мне «мучительно больно за бесцельно прожитые годы?» Нет. Ни о чём я не жалею, ничего не стыжусь. В моей жизни не было подвигов, но не было низости и подлости. Была обыкновенная, «нормальная», как сейчас говорят, жизнь. Сожалею ли я о чём-нибудь? Да, сожалею. О том, что не выучился играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, о том, что не овладел тремя-четырьмя иностранными языками, о том, что не видел мир...

Жалеть и сожалеть — разные вещи. Надеюсь, что внуки мои прочитают мои записки не без интереса «и обо мне вспомнят».

*Киев, июнь 2001 года.*

*Автору воспоминаний 22 октября 2014 года  
исполняется 90 лет.*

*Мы желаем ему долгих лет жизни и здоровья.*

## Оглавление

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <i>Часть первая</i> .....               | 1  |
| На заре туманной юности .....           | 1  |
| 1. Город .....                          | 1  |
| 2. Бога нет .....                       | 2  |
| 3. Красная армия всех сильнее .....     | 3  |
| 4. Разумное, доброе, вечное .....       | 3  |
| 5. Брат .....                           | 5  |
| 6. Школа .....                          | 6  |
| 7. Вихри враждебные .....               | 9  |
| 8. Война .....                          | 12 |
| 9. Институт .....                       | 13 |
| 10. Училище .....                       | 16 |
| <i>Часть вторая</i> .....               | 21 |
| 1. Мы едем на войну .....               | 21 |
| 2. Как мы воевали .....                 | 26 |
| 3. Лицом к лицу .....                   | 30 |
| 4. Как я был шпионом .....              | 32 |
| 5. Как мы ловили шпионов .....          | 33 |
| 6. На противотанковой обороне .....     | 34 |
| 7. За дезертирами .....                 | 35 |
| 8. Женщины на войне .....               | 36 |
| 9. Как мы праздновали День Победы ..... | 37 |
| <i>Часть третья</i> .....               | 39 |
| 1. Дороги, которые мы выбираем .....    | 39 |
| 2. Служба военная .....                 | 42 |
| 3. Университет .....                    | 47 |
| 4. О политике и жизни .....             | 50 |
| 5. Национальный вопрос .....            | 55 |
| 6. Итак... ..                           | 60 |
| <i>Послесловие 2001 года</i> .....      | 64 |